

# Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я Р Ю З Ъ Я

Видите ли, как это...  
Итак, мы видим, что...  
Эти данные показывают...  
Следовательно, можно сказать...  
Наша задача заключается в том...  
Мы должны рассмотреть...  
Этот процесс происходит...  
В заключение следует отметить...  
Таким образом, мы видим...  
Эти результаты являются...  
Следующим шагом является...  
Наконец, мы можем сделать вывод...  
В целом, это исследование...  
Мы надеемся, что эти данные...  
Эти выводы имеют важное значение...  
Спасибо за внимание.

1978-7

Ежемесячный литературно-художественный  
и общественно-политический журнал

04105020  
02111033

# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

# 1978

# 7

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

## ПОЭЗИЯ

ОТАР ЧИЛАДЗЕ . . . . . 3

## ПРОЗА

ГЕОРГИЙ ЦИЦИШВИЛИ. Преобра-  
жение. Повесть. Окончание . . . . . 12  
МЕРАБ АБАШИДЗЕ. Факелы, Ква-  
зимодо! Рассказ . . . . . 65

## КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ТЕЙМУРАЗ ДОИАШВИЛИ. Поэт и  
традиция . . . . . 102

## РЕЦЕНЗИИ

Алексей ГЕРШТЕНБЛИТ. Книги гру-  
зинских писателей на польском  
языке . . . . . 111  
СЕРГО ТУРНАВА. По страницам  
«Ревю де Картвелологи» . . . . . 113  
БАСАЛИЙ ЛАПЕРАШВИЛИ. Очерк  
о грузинской фронтовой поэзии . . . . . 116

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор — Гурам АСАТИАНИ

Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Ги-  
ви ЖВАНИЯ, Марк ЗЛАТ-  
КИН, Исидор КОЗАЕВ, Ге-  
оргий ЛОМИДЗЕ, Георгий  
МАРГВЕЛАШВИЛИ, Вла-  
димир МАЧАВАРИАНИ,

Михаил МРЕВЛИШВИЛИ,  
Гурам ХАРАИДЗЕ (заме-  
ститель главного редактора),  
Эммануил ФЕЙГИН, Георг-  
ий ЦИЦИШВИЛИ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ



„ლიტერატურაზია გრუზია“

(რუსულ ენაზე)



— უკველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი

ბავთღის 1957 წლის ივნისიდან. № 7 ივლისი, 1978 წ.

1500 ЛЕТ ГРУЗИНСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

ГРИГОЛ ОРБЕЛИАНИ. Лик царицы Тамар в Ветаннийском храме. Плачущей Нине Чавчавадзе . . . . .	118
К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО	
АННА НИКОЛАДЗЕ, Неизвестная рукопись А. Н. Пыпина о Н. Г. Чернышевском . . . . .	121
ОЧЕРК	
ГИЗО НИШНИАНИДЗЕ. Маленький эпизод из большой биографии . . . . .	133
К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БЕСО ЖГЕНТИ	
ВИКТОР ПЕРЦОВ. Мой Бесо . . . . .	141
ИСКУССТВО	
ГУРАМ ГВЕРДЦИТЕЛИ, РАМАЗ ГВЕРДЦИТЕЛИ. Союзник или соперник? . . . . .	145
АННОТАЦИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУЗИИ»	155
ХРОНИКА . . . . .	158
ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА . . . . .	160

*Рუკოპისი ობჟემო მენე ავტორსკო ლისა ნე ვოზვრაცაიუსა*

**НАШ АДРЕС:**

380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5

**ТЕЛЕФОНЫ:**

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отдел критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очерка — 93-65-19.

## Три глиняных таблицы

### 1

Я Гильгамеш. Я имя. Лишь на треть  
я человек — и потому я умер,  
связав один конец с другим началом, —  
а на две трети бог. Такая смесь  
наделала беды родному царству...  
О девственницы мирного Урука!  
О жены! О безвинные мужья!..  
След богочеловека на земле  
Подобен рваной ране.

Гиль-га-меш! —

Я прожил столько жизней, сколько раз  
тревожил слух и гнал воображенье  
по книге страстной...  
Тронулся обвал,  
переворачиваются камень  
и нехотя вздымаются на воздух  
и об-ра-ща-я-ся летят! Гора...  
Гора горизонтальна! — Что за шутки?  
Но каменный широкий ураган  
проносится по каменной пустыне —  
в котором времени? Припоминаю...

Но разве камень — камень? Хеттский бог  
однажды сочелся со скалою:  
скала почувствовала божество  
и родила героя. Плодоносны  
и камни родины — припоминаю...  
Я Гильгамеш — я соткан из волокон  
желанья жизни! Пусть на этих струнах  
играет ветер смерти как на арфе.

Воздвиг я храмы Ану и Иштар.  
Бог неба и богиня сладострастья  
нисходят по уступам величавым  
в Урук ночной, и каждый бог — в свой час.  
Я долго жил, но строгая пора  
довольства жизнью и желанья смерти  
не суждена была мне.  
Бедный друг!..



Скорбь об Энкиду милом привела  
меня к нему. К нему я поспешил,  
страстей исполненный и страха смерти,  
едва дожив до совести моей  
безмерной...



Друг мой, стали воскресать  
убитые... Все подвиги мои  
нелепы и бесславны изначально.  
Энкиду, помнишь, мы убили стража  
священных кедров? Мы его убили —  
покорного, предавшегося нам,  
и умерла сияющая тайна  
семи лучей Хуавы! Друг Энкиду,  
над жалостью моей ты насмеялся —  
ведь ты был полужверь и полубог.  
Всематерь благодатная Аруру  
онагра сочетала с антилопой,  
новорожденного перелепила,  
добавив красной глины. Мой Энкиду,  
ты был очеловечен страстью Шамхат,  
ты был очеловечен дружбой нашей —  
вот подвиг, если уж на то пошло...  
Ты спал в лесу сном зверя. И тогда  
послал я женщину к тебе — ты знаешь,  
я сам послал — и приняла она  
твое, Энкиду, красное дыханье  
и отдала прозрачное свое,  
подобное дыханию Евфрата...

— Я спал в лесу сном зверя. Легкий звон  
я угадал-услышал: золотые  
свои подвески обронила Шамхат.  
Туника пестрой бабочкой вспорхнула,  
и словно в камне млечном потонули  
мои глаза. Сон переходит в сон...

Семь дней и семь ночей минуло так,  
и стал он слаб и ясен, как дитя,  
а Шамхат принесла вина и хлеба...  
Прости меня, о женщина из женщин!  
Не в Вавилоне, а еще в Уруке  
втоптали в грязь и прокляли тебя;  
для малодушия — невыносима  
свободная и дерзкая краса...  
В онагров, похотливых и свирепых,  
ты превращала их... Прости — меня.

Второй... Седьмой... И храм взнесен на храм.  
В Эриду — цело — все — и невредимо.  
Четырнадцатый! — вровень облакам,  
где плавает ладья Утнапиштира.

Картина строгая, но это лишь  
простая стратиграмма до потопа.  
Так, мастер. Как построишь — просмолишь —  
летит и долетает до потомка.



Былое — будет. Снова? До конца?  
Зеркальную симметрию — разбейте!  
А город мой по-ша-ты-ва-ет-ся  
в моем столетье словно в Эль-обейде.

Кренится дерево, дрожат дома —  
живет преданье и глядит наружу...  
Чтоб горожане не сошли с ума,  
пророчество — пророчеством разрушу.

Не вижу смерти — не увижу впредь! —  
иначе — для чего мои глаза мне? —  
сквозь занавеску — на тебя смотреть,  
следить движенье — в непроглядном камне.

Но демон смерти — пролетел Намтар —  
я чувствую — вдыхаю воздух черствый...  
Храни завет один — как лучший дар:  
не уклони главы — противоборствуй!

Сегодня жарко. Воздух груб с утра,  
и держит азиатская жара  
мой город, словно глиняную куклу  
ладони каменные гончара.

Потрескались они, кровоточат,  
но понимают малую крупницу...  
Гляжу на белый зной, на сизый чад  
и на расплавленную черепицу.

Снуют рабочие перед окном:  
там промелькнула весело и дерзко —  
которая? — об имени одном —  
бельмо в глазу — белеет занавеска.

Опять она? Как много тут сошлось...  
Кого? Рабочих? Промочить бы горло...  
Мгновение

свободы  
пронеслось  
над крышей,  
над жаровней  
города!

Мгновенье... Мостовая потекла —  
булыжника скользящее движенье  
волною добежало до угла —  
и замерло без продолженья.

Ушли рабочие — она идет  
походкой той же — медленнолетящей.



Платанов тень поклоны ей кладет,  
и тени вовсе нет — при ней, светящей.



Она вступает в город как река —  
роняет, увлекает и колеблет  
деревья, провода и облака,  
себя узнает — у витрины медлит...

И мост — потом, и пережат — потом —  
пропала — стала ни при чем девица,  
которая идет своим путем,  
река — своим, и зрение ветвится —

и гладь и серебро на ветерке,  
обрыв и угол — каменная книга...  
Никак — спина в намокшем пиджаке?  
Плывет ничком какой-то горемыка.

Ты виноват: ты сглазил, Гильгамеш!  
Сквозь стену, говорит, я видел трупы —  
и плыли... Тут лакуна или брешь  
и древние мотивировки скупы.

Что помнишь, взбаламученный Евфрат?  
Бредешь, бредешь, как лошадь ломовая,  
и сбрасываешь кладь у южных врат,  
тесня залив и плавни намывая.

А иногда, уразумевав состав  
живого каменеющего ила,  
прочь уходил ты, русло опростав...  
Потом вода всю землю затопила

как божий гнев! А там, в голубизне —  
пределы Абзу — внешняя пучина...  
Все было обусловлено извне —  
и здешняя избыточна причина.

...Страх миновал — он разбудил меня,  
а к жизни мука обратила. Мука.  
Тогда же смерть загнал я как коня  
во дни мои — во времена Урука.

Два победителя: я и она —  
и все поэтому возобновится.  
Опоминаясь тихо ото сна,  
дохнет на зеркальце отроковица.

Несправедливо это — столько лет  
так корчиться в кувшине погребальном!  
Дыши, дыши... Иначе смысла нет  
в таком существованье моментальном.

И в кость взойдет живая ломота.  
и что-то дрогнет в глиняной утробе...



Назавтра песней станет немота  
и в стену ляжет старое надгробье!

Нежнее, чем цветочная пыльца,  
налет на камне — красноватой ткани —  
цветет — и — вос-ста-нав-ли-ва-ет-ся  
и дно влажнеет в глиняном стакане.

А те — вдали — курганы городов —  
восхолмья девственные Ниневии...  
Где родина? Где корень — род родов —  
возрос — и вырван — грубо и впервые?

Благословенна тайна лучших снов.  
Не обижайте Золушку Творенья.  
Грех — жертвоприношение слонов.  
Грех — малодушье, словоговоренье.

И страх и смерть — далеко позади...  
И нынче камни города святые  
Лежат прекрасно на моей груди,  
Чуть теплые и солнцем залитые.

2

Все говорят, что счастлив Утнапиштим,  
которому даровано бессмертье.  
Он был бы счастлив, если б получил  
и дар беспамятства. И дар — не видеть  
произрастанья пышного хамитов.  
Он был бы счастлив — просто умереть.  
Но этого (мы несколько вернулись)  
не может знать несчастный Гильгамеш.  
Энкиду нет. И он слепил из глины  
Энкиду-куклу и над куклой плачет,  
на камне сидя в грозной львиной шкуре...  
А день кончается, и он заснет  
сейчас — наплакавшись — в обнимку с куклой...

Утнапиштима он нашел в стране  
Восточных врат — встречающего утро  
и праздно плавающего в челие  
среди озера.  
— Что есть бессмертье? — Скорбь, —  
ответил мудрый. — За хребтом Элама  
не различаю города родного  
и времена смешались для меня.  
Всегда кричит Инанна над водою...  
Инанна — имя, а Иштар — другая,  
и неотвязно в тишине бессмертья  
я слышу крик Инанны — так кричит  
измученная только роженица,  
рождающая мертвое дитя.  
Завыла — слышишь? Люди так не воют —





Инанна обращается в Иштар...  
А ты идешь из-за самих хребтов.  
Изодрана твоя одежда. Свет  
и темнота на скулах проступили,  
и очи углубились. Гильгамеш,  
будь мудрым: не переживи себя  
и не переживи Урука... Снова  
Инанны вопль несется над водою!  
Инанны город... Если суждено  
ему погибнуть — с ним погибни ты.  
Да лягут теплые родные камни  
тебе на грудь — и под ноги потомкам.

Вершит жара свой грубый произвол,  
течет асфальт, и в бездыханном сквере  
судеб таблицу уронив в подол,  
в пространство смотрит дева Белет-Цери.

Гляди, свидетельница дел земных,  
как плодоносен сизый ил Евфрата  
и мысль растет во временах иных —  
как за Курой восхолмье зиккурата.

А облик Шамхат снова не решен.  
Та, в черном, не она ли, посмотрите...  
И кто-то правит вновь карандашом  
что высечено мною в диорите.

А я в тени стены — как тень в стене —  
распластанный и пригвожденный. Эа  
секрет спасенья открывает мне  
от неизбежного Суда и Гнева...

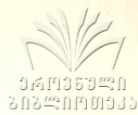
Не надо. Вместе с этою стеной  
и городом моим — стою и рухну.  
Нас обнимает первозданный зной  
и держит, будто глиняную куклу.

Горит над перекрестком львиный глаз,  
и душно и знакомо пахнет битум.  
Когда бы ты пришла и назвалась  
тем именем, тем звуком позабытым!

Единый он — иное воплотит —  
я верю созидательному гулу —  
и душу страждущую обратит  
к забытой человечности — Намлулу...

Я человек — и налегли века  
на сердце мне — всей памятью — всей кладью!  
...Как в пропасть рвется белая река,  
так рвешься ты из траурного платья!

Блажен и тих исход седьмого дня —  
исполнилось. И умолкает слово.



Энкиду, бедный зверь, прости меня:  
я человек. Прости меня — живого.

Прости, что я не волен заглушить  
ни страсть, ни мысль. А мысль — это совесть.  
Прекрасно все... Я перестану жить,  
убогой клинописью обособясь.

Не удивляйся: с некоторых пор  
я прежнего не понимаю страха.  
Горит и разгорается костер  
от ветра, налетевшего из мрака.

...Я шел к Утнапиштиму, а в горах  
туман и ветер, ночь и страх гнетущий.  
Согнь увидев, я подумал: прах!  
Но это был огонь — ночлег пастуший.

Меня позвали. Важный разговор  
не прерывался: что такое благо...  
Тот, кто был мертв, был смел как ветер гор  
и сердцем благороден как собака.

Один пастух сказал: он прост как нож.  
Другой пастух сказал: он проще соли.  
И первый — мне: что было, ты поймешь  
не силой разума — но силой боли.

Вот благо... Только не пережила  
его — жена. Сгорела в три недели.  
Я понял это — силою тепла  
и силою скорби... Сумерки редели...

Да, Гильгамеш... А ты — где опочил?  
В неведомых скитаниях? В Уруке?  
Тебе я душу перепоручил  
и взял твою, мой бедный, на поруки.

Всю жизнь как дрессированных зверей  
я к боли приучал родные мысли.  
Как проходил ты через семь дверей?  
Что в землю нес — в последний дар от жизни?

Как ложа пышные менял Евфрат —  
судьбе твоей сопутствовал апокриф.  
Сказанья переписаны стократ,  
и нужен друг тебе, а не биограф.

И где бессильны строгие умы,  
там хороши печальные приметы —  
есть вакуум забвения и тьмы,  
и он сильнее памяти и света.

Сын Лугалбанды-пастуха и Нинсун,  
 богини златокошой,  
 Гильгамеш,  
 я дважды жил до старости. И первой  
 я не утратил памяти. Она  
 как сон меня окутывала въяве,  
 плыла навстречу — облаком... Свой путь  
 я волен был оставить — где легла  
 гень сожаленья, где беда стояла...

О вымысла и были — два крыла  
 расправленных и неприкосновенных!

Нет, не оставил я моей дороги  
 и — след во след — былое повторил.  
 И вот где чудо: памятейший путь,  
 так повторявшийся — преображался!  
 — Эй, Гильгамеш, мы кедр убили! -- вдруг  
 знакомый возглас отдавался в сердце  
 протяжным удесятеренным эхом...  
 Убили дерево... Энкиду, слышу,  
 чего никто не слышит.

Дар тяжел  
 твой, Утнапиштим, — жизнь моя вторая.  
 И повторяю: дар благословен.  
 Не оскорби судьбы и не покинь  
 судьбы. Не поступишь — ни тем, что было,  
 ни тем, что есть. Не уклони главы...  
 А счастьем — дай свободу. Слышишь ты:  
 кричит так резко — как морская птица —  
 и отлетает — сорванное платье...  
 И самой первой мыслью, что приходит  
 в сознание чистое, — не поступишь.  
 Вцепись зубами... нет... но все равно  
 держи — как бабочку — улыбку Шамхат,  
 и как свечу храни от ветра!  
 Горы  
 не поступают прямым пространством,  
 поставленным на жесткое ребро, —  
 ты это видишь... Клинописью неба  
 написана история моя.

От царства,  
 от бессмертья,  
 от скитаний —  
 я отказался в свой черед. В Урук  
 вернулся я прекрасной ночью. Смерть  
 моя — в воротах города стояла —  
 и я вошел, не поклонившись ей.

На башне Храма Ану в звездный час  
 я должен видеть созидаенье ночи,





когда, переливаясь и лучась,  
судьба моя — звезда глядит мне в очи.

Инанна — гений мой. Мои слова  
Заканчиваются. Иштар — другая!  
На губы, теплящиеся едва,  
Скрещенные ладони налагаю..

Внизу — крива, как черная луна, —  
едва отброшенная тень святыни.  
Не будет смерти: свяжет имена  
Волхв-заклинатель Син Леке Уннинни.

Он продиктует эти письма,  
мое дыхание задержит в глине...  
Как ночи кубок, жизнь моя полна!  
И ныне

соединяются два бытия —  
ступени храма и ступени выси.  
Неведомая, ка-мне-ла-па-я —  
уносит — бережно — светильник мысли...

Перевод Владимира ЛЕОНОВИЧА

# Преображение

## П о в е с т ь

Евжирюхин, конечно, был удивлен: он считал, что я недостойн командовать полком, а тут меня назначают начальником штаба артиллерии армии! Но противоречить Крюкову он не посмел. Это был офицер старой закалки. Смелый и опытный командир, хотя и не очень образованный, он считал, что в армии прежде всего следует соблюдать субординацию, что военные ниже рангом должны беспрекословно подчиняться вышестоящим, а что касается проявления собственной инициативы, то это, по его мнению, удел выскочек.

На следующий день я уже приступил к работе и в течение пяти дней, несмотря на предельную усталость, привел всю документацию в полный порядок.

Не думал я, что смогу так умело вести штабные дела.

Особенно тщательно поработал я над оперативными документами, сам начертил некоторые схемы, перенес их на карту. Мне, естественно, было приятно, что работа моя не осталась незамеченной. На совещании в штабе армии начальник штаба генерал Кокорев объявил мне благодарность.

Следующие пять дней я отвел на инспекцию артиллерийских частей.

Евжирюхин не ожидал от меня такой оперативности и с радостью согласился: проверка частей офицерами штаба, по его мнению, была очень важным и нужным в то время делом.

За три дня мы объездили шесть полков.

Большинству командиров частей еще не было известно о моем назначении, поскольку я намеренно задержал рассылку приказа, хотел воспользоваться фактором неожиданности.

И действительно, приход в полк незнакомого майора никого не переполошил и командиры не пытались скрыть что-либо и, как говорится, черное выдать за белое. Всюду встречал меня естественный порядок, характерный для данного полка, я имел возможность видеть все без прикрас.

А опытному командиру первое неподготовленное знакомство нередко говорит больше, нежели официальная инспекция.

Окончание. Начало в № 6.

К тому времени, когда командирам частей становилось известно о моей личности и о цели моего прихода, я знал уже если не многое, то главное.

Вечерело, когда я остановил машину поодаль от моего бывшего полка и дальше пошел пешком. Я очень устал. Инспектируя полки, я не только пытался выявить недостатки, но по мере сил помогать всем, чтоб артиллерийские части, входящие в состав нашей армии, были лучше подготовлены. К этому времени я уже знал, что через десять дней мы переходим в наступление.

Стоял жаркий август 1942 года. Мог ли я тогда представить, что этот горячий месяц окажется памятным не только для меня, но и для всей истории Отечественной войны. Это было время первых атакующих боев советских войск после победы над врагом под Москвой, целью которых было воссоединение Ленинградского и Волховского фронтов. В историю Отечественной войны эта операция вошла под названием Мга-Сенявинской.

...Сердце мое беспокойно забилося, когда я приближался к бывшему своему полку.

Как жили здесь после моего ухода, вспоминают ли меня добрым словом, справляется ли со своими обязанностями подполковник?

Я шел к часовому и с минуты на минуту ждал его оклика. Но часовой даже не шелохнулся и не пытался вызвать дежурного.

— Почему не останавливаешь меня? — спросил я часового.

Тот улыбнулся.

— Я вас еще издали узнал, товарищ майор.

— Теперь я для вас чужой, и меня следует остановить!

— Вы никогда не будете для нас чужим, — ответил часовой и снова улыбнулся.

Я не смог возразить ему. У каждого солдата своя логика. Боюсь, мне даже льстили слова часового, хоть я и понимал, что он явно нарушает устав.

Когда я приблизился к баракам, кажется, из третьей батареи кто-то выглянул и, видимо, узнав меня, снова скрылся. Не прошло и минуты, как вся третья батарея высыпала наружу.

Несколько человек бросилось мне навстречу. Сомнений быть не могло — здесь мне обрадовались. Кто-то из солдат побежал к офицерам сообщить о моем приезде, и немного погодя меня окружили офицеры, отовсюду посыпались вопросы. Какими близкими и родными были мне все эти люди!

К третьей батарее присоединились бойцы первой. По тому, как все улыбались, жали мне руку, я убедился, что меня здесь помнят и любят.

Слух о том, что я приехал в полк, долетел и до самой крайней, четвертой батареи. И вскоре я был окружен плотным кольцом своих бывших подопечных. Мною овладело чувство, которое трудно высказать словами...

Я не мог сделать шагу, да и не хотел этого — я про-



стоял бы так вечность, средь этого взволнованного, оживленного, взбудораженного моря людей.

Кто знает, сколько писателей, сколько мыслителей билось над вопросом — что есть счастье. Встреча с моими бывшими однополчанами помогла мне найти решение этой вечной проблемы: тогда я убедился — да и теперь я убежден, — что настоящее счастье — это когда чувствуешь связующую тебя с людьми добрую нить, когда глаза людей смотрят на тебя с любовью, с верой и уважением (ведь недаром говорится, что глаза — зеркало души). И их любовь не дарована тебе свыше, а завоевана тобой. Это — ростки любви, посеянные и взращенные тобою... Корень и в земле пробивается с трудом, а в душе человеческой — тем более!

Стоял я, окруженный кольцом взволнованных и взбудораженных встречей однополчан, отвечал на град вопросов, изредка бросая взгляд на домик, видневшийся на пригорке.

И вот я увидел серую папаху подполковника.

Он шел к нам быстрым шагом, застегивая на ходу китель и о чем-то спрашивая встречавшихся ему на пути солдат. Я увидел, как он подошел к образовавшемуся вокруг меня людскому кольцу, но не смог прорвать его, чтоб пройти ко мне. Это взбесило его еще больше. Оскорбленный невниманием к себе, он прикрикнул на одного, другого толкнул, третьего отшвырнул в сторону и наконец добрался до меня.

— Майор, — полусухо-полусурово обратился он ко мне. — Как можно так безжалостно нарушать установленный в нашем полку порядок?!

— Будто бы его порядок волнует, — произнес кто-то, и несколько человек насмешливо хихикнули.

Подполковник сделал вид, что не расслышал едких слов, повернулся к солдатам и приказал:

— А ну-ка, молодцы, возвращайтесь в свои подразделения и ни шагу оттуда.

Потом приказал разойтись и офицерам. Кольцо вокруг меня медленно распадалось.

Я смотрел вслед неохотно расходившимся солдатам, и сердце мое переполнялось чувством, подобным чувству, которое испытывает молодой отец, расставаясь с первенцем и видя его слезы.

Мы с Яхонтовым остались наедине.

Подполковник подошел ко мне и хмуро произнес:

— Я прошу вас впредь не приходите сюда... Если ваше посещение будет все-таки необходимо, тогда в первую очередь вам следует являться ко мне. К ним, — он указал рукой на батареи, — у вас нет никакого дела. Так, значит, договорились, к нам вы больше не придете, так?

— Почему? — спросил я и пристально посмотрел ему в глаза.

— Потому что вы дурно влияете на моих людей! Вы здесь цацкались, вот они и хотят, чтоб я к ним относился так же, но, извините, я до этого не опущусь! Наоборот, я безжалостно истреблю такое бесшабашное, такое панибратское... одним словом, не приходите сюда, иначе...

Я не стерпел и как мальчишка созорничал:

— Иначе — что?

— Иначе я буду вынужден отдать приказ о том, что не впускали в расположение полка. До свидания, протянул мне руку.

— Я не могу вам этого обещать.

— Почему? — грозно спросил он и убрал протянутую руку.

— Служебные обязанности вынудят меня часто навещать к вам.

— Служебные?!

— Да, служебные.

— Может быть, вас назначили фельдкурьером штаба, чтоб приносить нам корреспонденцию? — спросил он насмешливо.

— Нет. Меня назначили начальником штаба, — ответил я и теперь сам посмотрел на него с усмешкой.

— Я не шучу с вами, товарищ майор.

— И я не шучу, товарищ подполковник!

Яхонтов посмотрел на меня внимательно. Я заметил, что он слегка растерялся.

— Пожалуйста.

Я протянул ему удостоверение, отпечатанное на толстой синей бумаге. В нем было сказано, что предъявитель сего документа, такой-то и такой, действительно является начальником штаба артиллерии N-ской армии. Документ подписывал один из известнейших советских военачальников, которого понизили за какую-то погрешность, и теперь он был командующим нашей армии.

Подполковник пробежал глазами документ с поспешностью, которой я не ожидал от него, повертел в руке бумажку, осторожно сложил ее так же, как она была сложена (я заметил, что руки у него дрожали), вернул мне и, пристукнув каблукми, хрипло произнес:

— В таком случае рад служить! — Он проглотил слюну (наверное, от досады у него пересохло в горле) и тихо добавил: — Прошу!

Подполковник отступил шаг назад, пропустил меня вперед и покорно пошел следом за мной.

Несколько минут мы шли молча, я замедлил шаг, чтоб идти рядом с ним, и что-то спросил, желая хоть как-то нарушить молчание, подбодрить его, но подполковник был так ошеломлен, что никак не мог прийти в себя.

И снова, идя бок о бок, мы молчали.

Яхонтов внешне изменился к лучшему. Выглядел бодрее и моложе и даже чуть-чуть пополнел.

«Наверное, тот ушлый сержант заботится о том, чтоб он хорошо питался», — подумал я, и мне стало неловко за подполковника. С детства я ненавидел обжор, подвластных лишь одному стремлению — наесться до отвала. А Яхонтов, как мне казалось, относился именно к этой категории людей.

Невольно я сравнил его со своими друзьями, пережившими ленинградскую блокаду, и был рад, что не мог вспомнить ни одного случая, в котором проявилась бы их жадность, хотя все мы отлично знали, что значит пережить блокаду. И не пом-

нил я, чтоб кто-либо из моих друзей использовал свое служебное положение для того, чтобы лишний раз набить желудок.

И снова я почувствовал неприязнь к Яхонтову. Тогда я почему-то пришел к заключению, что человек, которым владеет животная страсть к еде или чувство чрезмерного страха, способен на всякую подлость.

— Да, да! — спорил я с кем-то невидимым. — Такого человека, как бы ни был он талантлив, умен и хитер, можно заставить сделать все, что тебе надо!

Мы вошли в уже знакомую мне избу. Половицы не скрипели, видимо, пол подремонтировали. В комнате было жарко и пахло дешевым одеколоном.

Тут-то мне и бросилось в глаза, что худощавый прежде подполковник успел за это время отрастить брюшко.

Разодет он был с иголочки: новые шевровые сапоги, широкие кавалерийские галифе, китель из английской шерсти со сверкающими пуговицами...

— Вы нарядны, как жених перед свадьбой, не хватает только невесты, — съязвил я.

Подполковник натянуто улыбнулся и ничего не ответил. В жизни случается встречать людей, чувство отвращения к которым иногда сменяется чувством необъяснимой жалости. Именно в способности вызывать к себе жалость — их тайная сила. А пожалеешь их, они смеются и могут еще ужалить вас. Ну как не вспомнить тут притчу о черепахе и скорпионе?

Едва мы остались с подполковником наедине, как с ним произошла метаморфоза. Он буквально на глазах съежился, словно растаял. Я чувствовал, что начинаю задыхаться, что оставаться с ним в одной комнате более не в силах.

В это время в сенях послышались быстрые шаги, открылась без стука дверь, и на пороге показалась рослая девушка-сержант, грудастая, широкобедрая и краснощекая. Судя по всему, она не ожидала увидеть здесь постороннего и явно смущалась. Я тотчас узнал ее: это была телефонистка, которую я наказал за ночные танцы.

Я повернулся к подполковнику. Лицо у него вытянулось: он с таким нескрываемым страхом смотрел на стоявшую на пороге девушку-сержанта, словно в его комнату ворвался вражеский танк.

Первой нашла выход из неловкого для всех положения вошедшая телефонистка.

— Разрешите убрать помещение, — громко спросила она, причем трудно было понять, ко мне она обращается или к оробевшему подполковнику. — Меня послал комвзвода, — ловко вывернулась она.

Я огляделся. Комната была прибрана. Яхонтов заметил мой взгляд и вконец растерялся.

— Не время сейчас, — сказал он, разведя руками, — после...

Девушка облегченно вздохнула и скрылась за дверью.



«Смотри-ка на эту старую лису, — подумал я. — Пользуется всеми благами, причем делает вид, что так и следует поступать...».

Вспомнились мне ночные тревоги, тренировочные маршброски, бесконечные тренажи, жесткая закалка, и внутри у меня словно что-то оборвалось... Да, когда делу, за которое ты болел всей душой, кто-то изменяет, ты чувствуешь не только злость к этому человеку, но и сожаление к самому себе.

Потом, снова вспомнив пышногрудую гостью подполковника, ее светлые волосы, я, не знаю почему, подскочил как ужаленный. Видимо, меня подхлестнула неодолимая сила злости.

— Я все силы отдал полку, не помнил и не щадил себя, а вы все пустили по ветру и теперь развлекаетесь?! И в какое время! Когда до наступления осталась пара дней!.. Вас следует распать, да распать! — крикнул я подполковнику и стремглаз выбежал из комнаты.

Прошло всего три недели, как я покинул полк, но за это короткое время Яхонтов успел многое изменить.

Видимо, им руководило жгучее чувство ревности и желание скорее утвердиться в новом качестве. Бывают же люди, которым не нравятся не только дела своего предшественника, — они не переносят даже его имени и стремятся изменить все, что было до них.

Из девяти офицеров штаба четверо были новые, причем все они были переведены из батарей. Я горько сожалел, что так безжалостно был расформирован хорошо налаженный аппарат управления. Но огорчительнее всего было то, что новички ничего не смыслили в штабной работе, и никто не думал их учить.

Изменения были произведены и в батареях. Подполковник поменял офицеров местами по тому принципу, как он говорил, что новая метла лучше метет, и вовсе не заботясь о том, что в бою гораздо легче с людьми, к которым уже притерся и привык.

Радикальные изменения обнаружил я и в хозяйственной части. Одним из таких «новшеств» было назначение яхонтовского старшины заведующим продовольственным складом. Признаться, мне это показалось подозрительным, и я, будто бы между прочим, решил по пути заглянуть и на продовольственный склад.

Старая конюшня, часть которой в бытность мою в полку занимал обзono-вещевой склад, теперь была полностью оборудована под продовольственный склад. Здесь царили идеальный порядок и чистота. Потолок и стены побелены, на полу битый кирпич. Если раньше мешки с сахаром, солью, мукой и разными крупами в беспорядке валялись возле стен, то теперь они были аккуратно сложены в ряд.

Порядок во всем был настолько очевиден, что я не мог не похвалить заведующего складом, который следовал за мной по пятам и раболопно заглядывал в глаза.

Удивило меня только одно: во всю протяженность склада, на расстоянии метров трех друг от друга стояли жестяные ведра, наполненные водой. Я насчитал их восемь штук.

— Для чего они здесь? — спросил я.  
— Согласно инструкции нами приняты противопожарные меры. Строение деревянное, маленькая искорка — и все запылает, — с готовностью пояснил мне старшина.

Сам не знаю почему, я терзался сомнением, что на складе явно что-то не так.. Но что именно?

Стрельбой в цель полк не мог похвастать: из трех пушечных расчетов ни один не попал в цель — в макет танка.

Наконец пришло время, когда командир части, выстроив полк на плацу, должен был рапортовать мне. На сей раз этот ритуал должен был произойти при непредвиденном обстоятельстве: рапортовавший по званию был выше того, кто принимал рапорт, ведь я был майором, а командир полка — подполковником.

С самого утра думал я об этой неловкой минуте, увидев же подполковника, понял, что он тоже нервничает.

Неожиданно меня осенила мысль, спасительная для нас обоих.

— Товарищ подполковник! — обратился я к Яхонтову. — К полку мы выйдем вместе. Построить полк велите вашему заместителю.

Яхонтов не мог скрыть своей радости, он сиял так, словно ему вернули богатство, которое он проиграл в карты.

Из штаба мы вышли вместе. Выряженный по-праздничному, подтянутый больше обычного, подполковник пропустил меня чуть вперед и пошел следом слева от меня.

Гордыня его была сломлена окончательно.

В ста метрах от штаба в торжественной тишине выстроился полк.

Пробитое пулями боевое знамя, развевающееся на ветру, еще отчетливее подчеркивало торжественность обстановки.

Заместитель командира полка майор Степанов (он был и моим заместителем) уже знал о моем назначении, и когда, рапортуя, громко и четко произнес слова «товарищ начальник штаба артиллерии армии», солдаты в строю зашевелились.

В эти минуты я испытывал и радость, и смущение.

Военная служба, как никакая другая, обостряет чувство собственного достоинства. Но особенно, да простит меня бог, разжигает она честолюбивые желания.

Но, как тогда я считал, честолюбие для военного человека, пожалуй, не является отрицательным качеством. Не будь этой не до конца познанной побудительной силы, был бы утерян один, едва ли не главный, стимул военной службы...

Я думал об этом, когда в сумерках возвращался в штаб армии. Честолюбие мое должно было быть удовлетворено, но все-таки что-то меня мучило, не давало покоя.

Мне казалось, что я прозевал что-то очень важное и теперь уже напрасно сожалеть и каяться.

Мысли о моем бывшем полку не покидали меня, воспоминания наплывали друг на друга и причиняли мне тупую боль.



С темнотой заметно похолодало.

Небо, усеянное тусклыми звездами, низко опустилось.

Опаленные деревья стояли как скелеты, поднявшиеся из могил, и наводили ужас.

Тишину нарушал лишь гул «виллиса». До штаба армии езды оставалось не меньше двух часов.

Я вздремнул...

Охота... Мы поймали огромного кабана и, вырвав у него клыки, поместили в железную клетку, в каких в зоопарках обычно держат львов. Сами же, утомившись, повалились поодаль и заснули.

Утром разбудило нас шипение — с таким шипением вырывается пар из компрессора. Мы подошли к клетке и оторопели: она была заполнена чем-то черным, чешуйчатым, извивающимся. Именно эта склизкая масса и шипела.

Это был огромный удав. Пробравшись ночью в клетку, он проглотил кабана и, раздувшись, не смог выползти обратно.

Эх, почему мы вырвали у кабана клыки! Вот когда они пригодились бы ему!

Мы обошли со всех сторон клетку, чтоб обнаружить голову змеи и размокнуть ее металлическим ломом, но всюду видели лишь ее извивающееся туловище. И тут вдруг оно превратилось в человеческое тело! Какое знакомое лицо! Да это же подполковник!

— Эх, майор, майор! Как вы молоды! Неужто не видите, что со мной произошло, неужели не поможете? Дайте же руку, помогите мне выбраться из этой проклятой клетки...

Я протягиваю ему руку, обвивает мою руку и тащит меня в клетку... Я отчаянно сопротивляюсь, пытаюсь вырваться...

— Товарищ майор, товарищ майор! — слышу я во сне окрик.

Я просыпаюсь. Испуганный водитель наклонился ко мне, смотрит расширенными глазами.

— Чуть не вывалились из машины, товарищ майор!.. Вы вдруг так резко наклонились, что я едва успел удержать вас... Хорошо еще, что я вовремя оглянулся... Наверное, вы задремали...

— Да, задремал... Ну что ж, поехали, — говорю я водителю, продолжая думать о кошмарном сне.

И тут я почему-то вспомнил с сожалением о том, что Яхонтов расформировал и разослал по батареям радистов, которых я с таким трудом собрал в отдельную группу, прикрепив к ней опытного радиста-инструктора.

Да в своем ли он уме?! Надеется во время наступления держать связь с подразделениями с помощью телефона!.. Не знает цены радистам, да где ему знать, ведь на полигоне они ему не были нужны.

И снова сознание мое затуманивается, я впадаю в сон... Ну нет, прежде чем уснуть, я должен все-таки выяснить: почему Яхонтов находится в клетке...

...ТЬфу ты, о чем это я?! Это же сон! Вопрос совсем в другом — почему Яхонтов превратился в змею! Да нет, не о том



я... Почему с Яхонтовым так трудно? Потому что он корыстен, вреден?.. И еще... Еще он необтесан, неуч, льстец, зайскивает перед сильными, а перед подчиненными разыгрывает роль гордеца... Почему Яхонтов проглотил кабана? Да нет, это ведь не же сон...

Яхонтов такой отталкивающий потому, что не верит ни во что. Для него нет ничего святого! И еще... Еще он одинок, одинок и бесприютен. У него есть подчиненные и нет старшего над ним, умного и благожелательного, кто указал бы ему на ошибки и заблуждения. А человеку нужен руководитель, да, да, нужны руководители.., если их не будет, человек непременно опустится... Или же в клетку надо его посадить, или вырвать клыки... Вот тогда кабан не страшен...

Наконец я вырвался из объятий Морфея. Огляделся. Оказывается, мы проехали немалое расстояние. Я посмотрел на часы. Шел четвертый час.

Я попросил шофера остановить машину возле восстановленного недавно моста, подошел к реке, ополоснул лицо, чтоб окончательно очнуться от сна.

И вдруг я вспомнил о жестяных ведрах на складе Яхонтова...

Странная у меня привычка хранить в памяти все мелочи, да так, что даже при желании не могу от них избавиться.

Ведра эти я в самом деле никак не мог забыть.

Меня не покидали сомнения.

Не может быть, чтоб ведра стояли на складе только с противопожарной целью... Не такая птица Яхонтов...

Дни бежали стремительно и безжалостно приближали ту решающую минуту, когда огромная, неимоверно напряженная, предварительная подготовка должна была завершиться мощным взрывом — наступлением.

До наступления осталось несколько дней. Будущие бои покажут, насколько успешно мы подготовились к нему, и потому все — от командующего армией до машинистки — были охвачены тревогой, сомнениями, ожиданием.

За день до начала операции мы созвали начальников штабов отдельных артиллерийских частей, дали им последние указания и вручили «совершенно секретные» пакеты, которые следовало распечатать только в два часа ночи.

Я долго беседовал с начальником штаба моего бывшего полка, меня интересовало все — и готовность полка, и настроение солдат, и запас боеприпасов, состояние орудий и тысяча других мелочей.

Майор Радчук был явно чем-то очень озабочен. В конце беседы он с неохотой признался: в полку дела запутаны, он сомневается, сможет ли подполковник, не имеющий боевого опыта, командовать полком. Последнее признание Радчука, честно говоря, привело меня в замешательство и даже испугало. Майор не скрыл, что в полку недовольны командиром, не любят его.

Я хорошо знал, что значит недоверие и презрение к тому

человеку, от ума и способностей которого зависит судьба многих и который зовется «командиром».

Я расстроился еще и потому, что знал, какая трудная задача возложена на полк Яхонтова.

По плану наступления, утвержденному Военным советом армии, полк Яхонтова должен был на рассвете занять исходные позиции, одним из первых пойти на прорыв, прокладывая огнем путь стрелковым частям, перешедшим в атаку.

Радчук должен был возвращаться в полк на попутных машинах. У него оставалось еще около двух часов, и я пригласил его к себе, чтоб он мог хоть немного вздремнуть — майор тоже не спал уже несколько ночей подряд.

Не знаю, с чего я вдруг вспомнил заведующего складом и поинтересовался у Радчука, сможет ли оперативно перебазироваться продчасть, и в частности старшина со своим складом.

Радчук поморщился и в сердцах сплюнул.

— Бездельник! — коротко отрезал он.

— А склад у него в порядке, — испытующе сказал я.

— Вор он и бездельник! — повторил Радчук.

— Скажи на милость, для чего ему на складе столько ведер с водой?

— Воровской прием.

— Как? — поразился я.

— Очень просто. В три дня раз он наполняет эти ведра.

— И что же?

— Как что? Ведь от влаги некоторые продукты становятся намного тяжелее.

— Не понимаю... — снова удивился я.

Радчук развел руками, недоумевая, как это я не знаю такой элементарной истины.

— Вы в самом деле не знаете, что сахар и соль впитывают влагу?

— Конечно знаю!

— Так вот, если рядом с мешками соли и сахара поставить ведро с водой, вода постепенно испаряется, зато мешки станут намного тяжелее...

Я от удивления разинул рот.

В физике я, разумеется, кое-что смыслил, но не связывал так тесно никогда еще науку с хозяйством.

Мною овладела такая злость, что я едва сдержался. Мне хотелось сию же минуту быть в полку и тотчас же отдать проныру-старшину под суд военного трибунала.

— Если ты знал об этом, почему не доложил подполковнику или почему не сообщил мне, наконец, — в сердцах вскричал я.

— Я говорил подполковнику... Дважды предупреждал, что старшина жулик. Но вместо того, чтоб принять какие-то меры, подполковник накинулся на меня, кричал, что мы невзлюбили старшину за то, что он пришел к нам в полк вместе с ним, что мы не доверяем ему. Правда, потом, успокоившись, он обещал проверить, но, видимо, до сих пор проверяет...

— Значит, ты думаешь, что...

— Да, думаю, и все так думают.

— ??

— Подполковник любит поест, а старшина старается, чтоб у него всего было вдоволь. Думаете, подполковник довольствуется пайком! Зачем тогда он назначал заведующим именно старшину? Здоровый детина, быка повалит, а работает на сладе...

Вспомнил я и пышущую здоровьем гостью подполковника и разозлился еще больше.

Ничто не претит мне так, как ложь!

Стоит мне узнать, что кто-то обманул меня, пусть даже в чем-то малом, пусть даже без всякого умысла — ложь остается ложью, — я начинаю ненавидеть этого человека и презирать его.

Я был одержим одним желанием: воздать по заслугам жулику-старшине и вместе с его начальником окунуть головой в то самое ведро, которое они использовали для своих черных дел.

Жаль, что нет у меня для этого времени, пройдет еще несколько часов, посветлеет небо, а на рассвете ждет нас кровавый бой...

Вечером нас собрал начальник штаба армии генерал С-ов.

Когда все были в сборе, я понял, что на сей раз у нас не совсем обычное совещание. В густом ельнике я заметил самых высших армейских офицеров.

Ждали мы больше двух часов, многие нервничали, считая, что нельзя накануне боя оставлять армию без командиров, вдруг об этом станет известно врагу.

Следует отметить, что тогда шел лишь второй год войны, когда мы были еще недостаточно организованы и осведомлены.

Собравшиеся разглядывали друг друга, знакомились. Когда мы огляделись, то поняли, что были созданы командиры корпусов, дивизий, бригад и командиры отдельных частей всех видов войск: стрелковых, артиллерийских, бронетанковых, авиационных, инженерных, а также интендантских служб, крупных штабов и командиры соединений и частей, оперативно подчиненных нашей армии.

Из штаба артиллерии армии на совещании присутствовали Евжирюхин, трое его заместителей и я.

Оглядывая присутствующих, я убедился, что по званию все выше меня, не ниже подполковника.

Я чувствовал себя плебеем, попавшим в среду римских патрициев. Я привык находиться среди солдат, и запах солдатского пота и махорки, смешанный со специфическим запахом кожи, непередаваемый словами какой-то особый мужской дух, я предпочитал благоуханию дешевого одеколona, которым обильно были надушены многие штабники с белыми подворотничками.

Я впервые оказался на подобном совещании командиров и потому ко всему внимательно приглядывался.

В огромном срубе Военного совета — с застекленными окнами, крепкими дверьми, светлым чистым полом — собралось около ста пятидесяти человек.

Наконец в помещение вошли члены Военного совета, и совещание началось.

Командующий армией, два члена Военного совета, заместитель командующего и начальник штаба армии были одеты



совершенно одинаково. Они одинаково приветствовали нас, одновременно сели и положили перед собой одинаковые кожаные папки.

Мне показалось, что они встревожены. Генерал-лейтенант Клыков, назначенный командующим всего две недели назад, долго листал какие-то бумаги, потом резким движением руки отодвинул их в сторону, тяжело встал и хриплым голосом сказал:

— Я только что прибыл от командующего фронтом, генерала армии Мерецкова, который согласовал оперативный план нашей армии с Верховным главнокомандующим...

Мы сидели затаив дыхание... Раз план согласовывался с самим Верховным главнокомандующим, значит, впереди — крупные операции. Видимо, решалась большая оперативная задача. Начиналось долгожданное наступление, ради которого ничего не жалко.

Мы переглянулись. Собравшиеся в помещении вмиг преобразились, стали красивее, мужественнее.

Командующий армией повел речь издалека. Прежде всего отметил, что в прорыве ленинградской блокады главная роль отводится Волховскому фронту! Мы были радостно удивлены, поскольку до сих пор считали, что в прорыве ленинградской блокады решающую роль играет Ленинградский фронт. Нам было приятно, лестно, что именно нам доверят такую сложную и ответственную задачу.

Далее генерал-лейтенант Клыков дал оценку весенне-летним операциям, заострил наше внимание на мелочах, которые не играли роли в прошлых боях, но, видимо, могли стать значительными в будущем.

Командующий напомнил, что на подготовку к операциям у нас ушло больше двух месяцев, что много времени и сил отдано выработке взаимодействия между армиями и умению вести наступательный бой.

На совещании я впервые узнал, что в июле-августе не только мой полк, но, оказывается, весь наш фронт проходил специальное обучение и готовился к большим операциям.

Большие масштабы красят любое дело!

Затем Клыков перешел к задачам нашей армии... Мы слушали напряженно и так сосредоточенно, словно успех дела зависел только от нашего внимания.

— На наше наступление, — многозначительно произнес командующий армией, — Верховное главнокомандование возлагает большие надежды.

Эти слова так взволновали присутствующих, что командующий вынужден был на некоторое время замолчать.

Нам надлежало прорвать сильно укрепленную линию обороны, уничтожить опорные пункты Мга, Тосно, Шлиссельбург, соединиться с войсками Ленинградского фронта и тем самым прорвать блокаду Ленинграда.

— Мы должны облегчить боевую задачу южных фронтов, — сказал Клыков, — там положение крайне напряженное...

Это печальное известие официально мы услышали впервые. Правда, по газетам и сводкам «Совинформбюро» не мудрено было понять, что положение на южных фронтах критиче-

ское. Но сегодня нам впервые довелось услышать от самого командующего армией: «если мы не предпримем все возможное, последствия могут быть катастрофическими».

— Вражеские армии дошли до Кавказа, в опасности Сталинград, — не скрыл от нас Клыков.

Под конец командующий перешел к задачам нашей Второй ударной армии, сообщил, что в так называемой «ударной группе» объединены Восьмая и Вторая армии. В первом эшелоне будет действовать Восьмая армия, во втором — наша, то есть Вторая. Но тут же он подчеркнул, что поскольку железнодорожная служба не обеспечила своевременного перемещения войск (оказывается, надо было перевезти не менее тринадцати дивизий, столько же бригад и около двадцати артиллерийских полков), некоторые части второго эшелона будут действовать в составе первого эшелона.

Я был немало удивлен, что командующий так откровенно говорил нам о недостатках. Это было ново и, признаться, понравилось нам.

Не скрыли от нас и того, что Ленинградский фронт уже две недели назад перешел в наступление. Поскольку никто не обмолвился об успехах, мы поняли, что хвастать нам нечем.

Так же откровенно говорилось на сей раз о силе врага. На участке нашего предполагаемого прорыва — Лодва — Липка<sup>1</sup> действовали две дивизии немецкой восемнадцатой армии. Эти дивизии численно превосходили наши корпуса, но командующий дал понять нам, что наш военный потенциал все-таки преобладает.

Это было обнадеживающе...

Член Военного совета корпусной комиссар Диброва начал свою речь чересчур агитационно... В ответ по срубам пробежал гул недовольства. После честного, прямого, изобилующего фактическим материалом выступления командующего высокопарные фразы члена Военного совета показались всем нам неуместными.

Здесь собрались люди, которые вовсе не нуждались в громких словах. Необходимы были только большая информация о враге, о наших войсках, больше оружия, боеприпасов, снаряжения и, что самое главное, нужны были знающие, грамотные руководители.

Диброва, верно сориентировавшись в ситуации, перешел от общих фраз и громких слов к более деловому разговору, сообщив нам не менее важные сведения.

Присутствующие снова затаили дыхание. Член Военного совета сообщил, что в наступление переходим на рассвете. До сих пор на совещании таких сведений нам не давали. Лишь перед самым началом операции время наступления сообщали специально прибывшие в части офицеры или же присылались «совершенно секретные» пакеты, вскрыты которые можно было только в определенно назначенный час.

После двухчасовой артиллерийской подготовки Восьмая армия должна была пойти в наступление на сравнительно ма-

<sup>1</sup> Населенные пункты в Ленинградской области.



леньком участке — Гонтовая Липка — Вороново, протяженностью не более десяти километров и повести за собой некоторые части Второй армии. Когда она прорвет оборону немцев в район прорыва вступит Вторая армия, которая продолжит и разовьет наступление.

Диброва напомнил о бдительности, о соблюдении военной тайны. По срубам вновь прошел шум. Диброва спохватился и с ходу сообщил интересные детали предстоящей операции.

Частям, сменившим свои позиции, и подразделениям велено оставлять на прежних местах специальные радиопередатчики, чтоб немцы не догадались об их уходе. А соединениям, стоявшим на начальных позициях, категорически запрещалось пользоваться радиопередатчиками, предельно ограничивалась и телефонная связь. На нас возлагалась особая ответственность за маскировку и воздушную оборону.

Не скрыл он и того, что у нас все еще хромает организованность и умение руководить войсками.

В заключение член Военного совета подчеркнул, что операция целиком зависит от того, насколько она окажется неожиданной для врага. Признаться, это было малоутешительно...

К концу совещания начальник штаба армии генерал С-ов провел с нами более подробный инструктаж. Мы узнали, что эту операцию мы начинаем исключительно собственными силами и фронтовыми резервами. Верховное главнокомандование не могло дать ни одной дивизии — все отсылалось на юг.

Когда генерал коснулся некоторых вопросов дислокации наших наступательных частей, Евжирюхин и я переглянулись. Первоначальный план был частично изменен, поскольку некоторые части не успевали подойти к началу операции.

Согласно новому плану перегруппировок в полосе главного удара одним из ответственных участков стал именно тот, где должен был находиться полк Яхонтова.

«Сможет ли Яхонтов правильно действовать в такой сложной обстановке?» — этот вопрос не давал нам покоя.

Я взглянул на часы. До контрольного срока оставалось всего пять часов.

Успеет ли в такой срок передислокация двух полков?

Я раскрыл на коленях карту, и мы с Евжирюхиным погрузились в нее.

— Полк Яхонтова немедленно надо снять из района Гайтолово и перебросить в район Лодва—Вороново, — шепнул я Евжирюхину, — это фланг прорыва, пусть полк Яхонтова находится там в целях безопасности фланга прорыва.

— Верно! — поспешно согласился со мной Евжирюхин. — Но успеют ли?

— Даже обходными путями там всего несколько километров пути, если будут молодцами, успеют. А вместо яхонтовского полка поставим 105-й...

— Точно! — снова согласился генерал. — Но успеют ли подготовить позиции к контрольному времени?

— Успеют! — сказал я уверенно, — 105-й больше яхонтовского всего на одну батарею. Позиции обоих готовы, они лишь поменяются местами. А отрыть орудийные окопы для лишней батареи помогут другие подразделения...



— В самом деле! — с облегчением вздохнул генерал. Евжирюхин прибыл к нам вместе с новым командующим армией. Атмосфера спокойствия, царившая у нас, видимо, приглушила его сообразительность, он не помнил даже структуру подчиненных частей. Я же специально выучил состав частей, и, оказалось, не зря! Какую же ты сможешь составить дислокацию, если не будешь знать состояние полка, его огневых средств.

— Разрешите мне действовать... — обратился я к Евжирюхину.

Тот колебался.

— Знаете что... — сказал он, — это ведь очень рискованно, если вдруг...

Я еще не был близко знаком с генералом, но успел уже раскусить его: мое предложение несомненно ему понравилось, но он не хотел брать на себя ответственность! Вот если бы все обошлось без его вмешательства...

Тогда я решил взять все на себя.

— Поручите мне выполнение этого дела, — предложил я.

— Хорошо, — с радостью согласился генерал, — действуйте, но учтите: насчет передислокации этих полков я ничего не знаю, — и развел руками, — совсем ничего...

Начальник штаба армии все еще говорил, когда я встал и, согнувшись, бесшумно пройдя между рядами, вышел из сруба и поспешил в штаб артиллерии армии.

На Яхонтова я не надеялся; пока он расшифрует телеграмму, найдет на закодированной карте новое месторасположение полка (если вообще сможет найти его!) или же поймет мои намеки (на закодирование телеграммы не оставалось времени), пройдет немало времени. Поэтому я сразу же вызвал к телефону моего бывшего заместителя. Он, разумеется, тотчас понял меня.

Я никогда еще в своей жизни столько не курил, как в эти четыре часа, пока ждал ответа о готовности передислоцируемых полков.

...Когда оперативная группа Евжирюхина из семи человек во главе с самим генералом подошла к полковому командному пункту в центре полосы наступления, все артиллерийские части и соединения уже стояли на исходных позициях.

Наше ВПУ (Военно-полевое управление) находилось на расстоянии полутора-двух километров от позиции немцев. Отсюда все обозревалось даже невооруженным глазом.

Вокруг, на протяжении десятков километров, раскинулось чистое поле, поэтому немцы тоже видели все, что происходило на нашей стороне. На любое перемещение, на малейшее движение обе стороны отвечали мощным артиллерийским и минометным огнем.

Связь с частями, находившимися на передовой, осуществлялась только глубокой ночью. И все равно это было небезопасно, поскольку вражеские пушки не смолкали и в воздухе светились подвешенные к парашютам ракеты, позволявшие врагу следить за действиями наших частей.

Но наши придумали маленькую хитрость: непосредственно за передовыми позициями протянули маскировочную сеть вы-

сстой в четыре метра и длиной около шести километров. Она сослужила нам отличную службу. Это простое, но умное решение особенно пригодились нам в период подготовки.

Правда, немцы каждый день обрушивали на эту осточертевшую им сеть артиллерийский и минометный огонь, но едва темнело, наши саперы снова ее восстанавливали.

Блиндаж командующего артиллерией и его штаба находился в двухстах метрах от этой сети. Соорудить его было поручено заместителю Евжирюхина, и надо сказать, с заданием он справился отлично. Но нам почти не пришлось воспользоваться этим блиндажом; едва прибыв, мы разделились на небольшие группы и отправились в части, расположенные на передовой.

Я возвратился с передовой в полночь и едва добрался до своего блиндажа — каждая пядь земли была занята бойцами, орудиями, наблюдательными пунктами, штабами, замаскированными специальными и транспортными автомашинами.

Для сна не оставалось времени, я вышел из душного блиндажа.

Стояла удивительная ночь. Лунная, теплая, спокойная. Чуть ател восток.

Вдруг справа от нас раздался страшный взрыв. Почти одновременно, где-то совсем близко гроыхнуло еще сильнее. Не прошло и мгновения, как оглушительная канонада сотрясла всю окрестность.

Земля дрожала под ногами, от орудийных вспышек стояло зарево. Скоро оглушительный грохот перешел в непрерывный, сотрясающий воздух гул, который мгновенно завладел всем, как завладевает огонь стогом сена.

Я посмотрел на часы.

Началась артиллерийская подготовка...

Затаив дыхание, с каким-то праздничным, торжествующим чувством слушали мы этот оглушающий грохот.

Казалось, нашу планету изнутри заминировали какие-то волшебники, и теперь взрывы небывалой силы забросят нас куда-то в бесконечное пространство космоса.

Иногда мне очень хотелось, чтоб на мгновение все смолкло, совсем ненадолго, чтоб слух мог хоть малость передохнуть.

А вокруг все продолжало громыхать и сотрясаться.

Артиллерийской подготовке всегда сопутствует какая-то скрытая радость, необъяснимая гордость и чувство неведомого восторга.

Ты знаешь, что в эти минуты в логове врага — крошечный ад, дробится камень, кипит железо, воздух дышит огнем и карающий меч смерти разит все и всех. И ты жаждешь, чтоб эта разбушевавшаяся стихия крушила бы все еще сильнее, чтоб она смела с лица земли ненавистного врага.

В этом оглушительном, все сотрясающем гуле отчетливо выделялся грохот «катюш», самый страшный, наводящий ужас на врага.

Изредка и на нашей стороне раздавались взрывы. Видимо, вражеская артиллерия решила нанести контрудар, но наши пушки быстро заставили ее умолкнуть.

Мы с таким наслаждением слушали адский грохот, <sup>слово</sup> но это были самые чарующие звуки на свете.

И хотя за передовыми позициями стелился плотный туман пыли и дыма (при самом большом желании различить что-либо было просто невозможно), мы словно воочию видели, как крушит наша артиллерия врага.

Я знал, что эта дикая симфония — для нас — вестница добра, но все-таки жаждал, чтоб она умолкла.

Едва закончилась артподготовка, как совершенно взбесились рации и полевые телефоны. Одно за другими поступали сведения, информации, рапорты.

Одни докладывали об обстановке, другие просили помощи, третий что-то диктовал нам, четвертому нужно было помочь советом — и все нервничали, торопили с ответом. Каждый считал, что их требования — самые безотлагательные.

Я забыл о времени, целый день провел на ногах и до того устал, что не чувствовал уже собственного тела, а испытывал то ли какую-то глухую боль, то ли болезненную вялость. Но, как ни странно, я все отлично помнил, все запоминал, мозг мой работал четко и без устали.

Так пришла и вторая бессонная ночь.

Второй изнурительный день...

Третья ночь...

А на третье утро разведка штаба армии донесла страшную весть: на флангах прорыва немцы начали контрнаступление, бросили в бой новые силы и в настоящее время особенно угрожают левому флангу нашей армии дивизиями, переброшенными из Крыма.

Наше наступление, начатое три дня назад, развивалось крайне медленно. Все мы явно чувствовали, что оно вот-вот захлебнется. Атакующие корпуса в секторе главного удара 27, 28 и 29 августа продвинулись всего на один километр. За это время мы взяли лишь один вражеский опорный пункт — село Тортолово, а второй — Поречье обошли стороной. Немцы отчаянно сопротивлялись и вводили в бой все новые и новые дивизии.

Уже на второй день атаки, т. е. 28 августа, немцы бросили на наш участок 12-ю танковую дивизию. Теперь нас предупреждали, что в районе Вороново—Карбусель готовилось контрнаступление 170-й немецкой стрелковой дивизии, которую только что самолетами перебросили из Крыма. Ее поддерживал весь резерв фашистской 227-й и 36-й дивизий, в их числе несколько танковых батальонов.

Было очевидно, что на нашем участке враг имел численное превосходство, и потому он не преминул бы перейти в контрнаступление. Это подтверждалось данными, полученными из разведывательного отдела армии, а также агентурными сведениями.

В штабе армии было беспокойно...

Срочно разрабатывались новые оперативные мероприятия. Из штаба армии сообщили, что командующий требует от нас немедленно укрепить артиллерией левый фланг.

30 августа мы узнали, что Волховский фронт раньше срока привел в боевое состояние всю нашу Вторую ударную армию.



Обстановка постепенно становилась все напряженной.

Я сидел за столом и переносил на карту свежие данные, полученные от связных офицеров и средствами связи, когда ко мне зашел Евжирюхин. Генерал был явно не в духе и не скрывал этого. Он сел на табурет и протянул мне недавно поступившую телефонограмму.

Прочитав ее, я с головы до ног покрылся холодным потом. Сведения были тревожные. Сообщалось, что на левом фланге немцы начали сильную контратаку, их бронетанковые соединения смяли наши передовые части и теперь вклинились к югу от Воронова во вторую линию обороны.

Командование армии обязывало нас поспешно перебросить к месту прорыва артиллерийские части и сделать все возможное, чтоб остановить врага.

Но что мы могли предпринять, когда в опасной зоне у нас одна-единственная артиллерийская часть, и это — мой бывший, а ныне яхонтовский полк... ну как не вспомнить тут пословицу «думы за горами, а беда за плечами». Мы предполагали уберечь от беды этот полк, а вышло наоборот...

— Где была эта чертова разведка? Только путают нас, — ворчал генерал, и он был прав: армейская, так же как фронтовая, разведка утверждала, что у немцев всего две дивизии, а не прошло и трех дней с начала операции, как немцы бросили в бой семь новых дивизий. Плечом к плечу с тремя дивизиями, переброшенными за день до этого, 31 августа действовали еще четыре дивизии.

Евжирюхин сидел, уткнувшись в карту, и молчал.

Каждый из нас осторожно высказал свои соображения.

Евжирюхин продолжал хранить молчание, но, видимо, слушал всех очень внимательно.

Наконец он объявил нам о своем решении. Надо признать, что выбрал он единственно правильный путь: снять с правого фланга артиллерийскую бригаду и бронетанковую часть и перебросить их на участок, где идут бои. Потом он обратился ко мне:

— Товарищ Хведурели, отправляйтесь немедленно, — генерал назвал мне квадрат на зашифрованной карте, — чтоб на месте руководить арто обороной. Поручаю вам координацию действия всех находящихся там артиллерийских частей. Как только прибудете, свяжитесь с командиром 265-й стрелковой дивизии и действуйте вместе с ним. Захватите с собой капитана Шербинского. Он будет вашим заместителем. Даю вам двух радистов и трех солдат. Тотчас же установите с нами связь. Вы отлично понимаете, какая опасность подстерегает вас и какая вам необходима твердость духа...

Часа через два я со своей небольшой группой был уже на месте. Я послал всех, в том числе и капитана, уточнить обстановку: узнать расположение ближайших командных пунктов, установить связь со стрелковыми частями, познакомиться с соседями. Сам же отправился к позициям яхонтовского полка. По моим соображениям, он должен был находиться на расстоянии не более полукилометра.

...За полдень я подошел к сонной реке.

По эту сторону ее расположился санитарный батальон. Огромная брезентовая палатка не вмещала раненых, многие лежали под открытым небом. По дороге непрерывным потоком шли машины и поднимали такую пыль, что дышать было трудно.

К счастью, небо было чистое, ни одного самолета противника.

За рекой я разглядел наши позиции и насчитал несколько точек так называемой полковой артиллерии.

Поодаль минометные расчеты стреляли по врагу. А еще дальше тянулась суглинистая насыпь — это была передняя линия наших стрелковых частей.

Траншеи немцев не были видны, но нетрудно было догадаться, что они тянулись вдоль опушки леса. Между нашими и немецкими передовыми позициями оставалось не более полутора километров — так называемая «ничейная» зона.

Изредка из синевшего поодаль леса грохотал выстрел, и, пронесясь над нами, снаряд разрывался где-то совсем близко. Было жарко. Беззаботно стрекотали стрекозы.

Едва умолкал грохот минометов, как наступала жуткая тишина, в которой можно было различить какой-то далекий гул. Он шел с севера.

Я знал, что вслед за такой тишиной снова последует раздирающий душу грохот.

Я шел вверх по берегу реки. Вдалеке торчали печные трубы и остовы домов какого-то сожженного села. Я шел, и с каждым шагом росло мое удивление. В предполагаемом нами районе я не увидел ни одной батареи Яхонтова.

Тогда я пошел вниз по течению реки, перешел через понтонный мост. У самого моста расположились две крупнокалиберные зенитные батареи.

Опершись на бруствер, безусый лейтенант что-то разглядывал в бинокль.

— Ну что видишь хорошего? — поинтересовался я.

— Хорошего ничего. Кажется, в лесу немцы сосредотачивают танки, — ответил мне лейтенант. — Куда девалась наша авиация, вот наглушили бы рыбки! — и он снова стал смотреть в бинокль.

Я пошел дальше, прошел мимо высокого бурьяна и в отдалении, на расстоянии ста метров, увидев маскировочную сеть, решил, что здесь я наверняка найду артиллерийскую батарею.

Не прошел я и двадцати шагов, как столкнулся со старшиной первой батареи Евчуком.

— Скорее в траншею, — предупредил он, — во всю работают снайперы...

Мы прыгнули в траншею. Евчук шел впереди, сообщая мне по пути новости.

Встрече с командиром батареи Снегиревым и комвзвода я был несказанно рад.

Я был рад тому, что выглядят они хорошо, держатся бодро, в глазах нет и намека на страх. На мой вопрос, где Яхонтов, они сообщили, что подполковник расположил батарею дугой, а свой командирский пункт установил посередине, за третьей батареей. Скорее всего Яхонтова можно найти на командном пункте.

Шел я к Яхонтову и размышлял над тем, почему немцы, прорвав вчера к северу от Воронова нашу линию обороны, не спешат с наступлением. Если бы они перешли в атаку, то мы не смогли бы оказать им серьезного сопротивления.

Я мечтал о том, чтоб немцы не перешли в наступление еще день-другой, а за это время командование армией наверняка найдет выход из создавшегося положения.

А на следующий день было уже первое сентября 1942 года. Первое сентября! Сколько радости приносил этот день, когда я был учеником, потом студентом. С каким трепетом ждали мы первого звонка, встречи с одноклассниками, друзьями...

Слева от нас, за невысокими кустами, видимо, был расположен ардивизион, потому что неожиданно до нас донесся отчаянный крик:

— Ложись!

И едва мы оказались на земле, грянули залпы. За кустами вспыхнули языки пламени, и десятки снарядов одновременно прожужжали над нашими головами. Будь мы на ногах, нам, конечно, не сносить головы в буквальном смысле слова. Струя горячего воздуха обдала нас жаром.

— Что, жизнь надоела? Чего шатаетесь тут! — кричал нам кто-то сердито. — Идите сюда, здесь можно обойти батарею, не видите, что здесь огневая позиция?!

Обойдя батарею, мы наткнулись на разведчиков в маскировочных халатах. Безжизненное на первый взгляд поле, оказалось, жило четкой военной жизнью. То и дело попадали мы на чьи-то позиции.

Со всех сторон раздавались какие-то приказы. Невидимые нами люди разговаривали с кем-то по телефону, что-то докладывали, приказывали. Приходилось часто останавливаться, чтоб уточнить направление и не потерять дорогу к батарее Яхонтова.

Несколько сот метров оказались особенно трудными. Нас то не пропускали, то возвращали назад, то просили обходить территорию стороной. Спорить было бесполезно. Надо было подчиниться.

Наконец добрался я до одной из батарей моего бывшего полка. Устал и измотался так, словно участвовал в кроссе.

И здесь ребята выглядели бодрыми, крепкими. С помощью специальной электровычислительной установки батарея могла попасть и в воздушную цель, а прямой наводкой или же при определенном параметре — в наземную.

Но почему так странно расположена батарея? При таком расположении вдвое труднее отразить вражеский налет.



— Кто додумался до такого? — спросил я командира второй батареи капитана Светловидова, опытного, хорошего артиллериста.

Он пожал плечами — приказ подполковника. Даже батареи, стоящие в центре — третью и четвертую, — он расположил точно так, мол, с целью противотанковой защиты.

Не знаю, найдется ли на земле человек, умеющий сдержаться, не выразить бушевавший его гнев, когда это чувство распирает, охватывает все его существо. Имел ли я право сказать людям, которые, возможно, через минуту пойдут в бой и при необходимости пожертвуют жизнью, что у них плохой, никудышный командир, самоуверенный неуч?!

К счастью, к великому моему счастью, Яхонтова не было рядом, не то я, наверное, разорвал бы его на части.

Захватив с собой связного из второй батареи, я направился к командному пункту подполковника.

Камуфлированный «фургон» Яхонтова стоял в глубокой яме, замаскированный еловыми ветвями.

Я огляделся. Ни блиндажей, ни защитных рвов. Командир полка приказал вырыть всего два окопа: в одном стоял разведчик с биноклем, другой, видимо, предназначался для самого подполковника.

Когда ему сообщили о моем приходе, он торопливо вылез из автофургона и направился ко мне.

Он шел легко, быстро, широко размахивая руками, как мне показалось, деланно улыбался. Громко поздоровавшись, пошутив мимоходом, он тотчас повел разговор о преимуществах выбранной им позиции, о посланных им вперед разведчиках, о боевом настроении солдат.

Я слушал его молча, нахмурившись, и все ждал, что по моему молчанию и суровому выражению лица он наконец-то сообразит, что городит чепуху, что пора бы и честь знать — замолчать наконец, но Яхонтов был так возбужден непривычной обстановкой и ожиданием предстоящего боя, что ничего не замечал.

В дверях автофургона появилась рослая телефонистка и поспешно скрылась. Я внимательно пригляделся к подполковнику. Он был сверх меры оживлен, щеки красные, глаза мутноватые. По всей видимости, он успел приложиться к бутылке.

— Как хорошо, товарищ майор, что вы пришли к нам! Солдаты будут рады... Кроме того, мы нуждаемся и в ваших советах... Да-да, вы опытные, бывали в боях... Нет, поймите меня правильно, мы и без вас сделали бы все возможное, но когда и вы... Да, мы чувствуем себя, как... одним словом, молодцами... Если немцы перейдут в наступление, мы разобьем их наголову. Я так расположил мои батареи...

— За такое расположение вас надо повесить вниз головой на стволе орудия! — вспыхнул я.

— Почему? Что-нибудь не так? — удивился подполковник и, видимо, только сейчас заметил, что я взбешен.

— Пойдемте, осмотрим сектор с той возвышенности, — сказал я и пошел по направлению небольшой речушки, текущей

к Назие. — Захватите с собой карту с указанием огневых позиций ваших батарей!

Подполковник повернул к фургону. По его опущенным плечам я понял, что возбуждение его спало.

Я не стал его ждать, пошел вперед. Надо было осмотреть местность с холма, чтоб лучше продумать план самообороны. Кроме меня, здесь никто еще и не подозревал о той большой опасности, которая грозила всему этому участку фронта.

Заыхавшийся подполковник нагнал меня у самого холма. — Знаете, сколько я искал вас и ваши батареи? — не оглядываясь, спросил я.

— Наверное, долго... — виновато ответил подполковник.

— И знаете, почему?

— Мудрено найти, здесь так много понатыкано частей и подразделений...

— Потому что вы не знаете элементарных обязанностей командира отдельной части.

— Простите, не понимаю...

— Все дело как раз в том, что вы не понимаете. Расположившись на новой позиции, командир обязан послать в вышестоящий штаб точную схему местонахождения своей части и всех ее подразделений, — кажется, так написано в Боевом уставе. А как вы поступили?

— Я послал. Разве не получали?

— Вы прислали в штаб план на мелкомасштабной карте. В одном сантиметре — десять километров. А кружки, обозначающие позиции, такой величины, что возможная разница равна по меньшей мере пяти километрам! У вас пять батарей, выходит, чтобы найти их, я должен обойти пешком минимум двадцать пять квадратных километров.

— Простите, должен признаться, я не обратил на это должного внимания...

— Кто составил план?

— Старший лейтенант Юркевич.

— Немедленно верните его в батарею, а вместо него назначьте более знающего, например, Семиглазова. Я потому и советовал вам не трогать штаб.

— Есть перевести Семиглазова!

— А теперь скажите, перечитывали ли вы в течение года Боевой устав и наставление по стрельбе?

— Как же, как же... — всполошился подполковник, — по ночам я только их и перечитываю.

Я чуть было не задал ехидный вопрос: «До того, как ласкаешь свою телефонистку, или после?», но вовремя сдержался и спросил совсем другое:

— По какому же уставу вы расположили орудия своих батарей или, может быть, готовитесь к парадному залпу?

— Знаете что, — снова всполошился подполковник, — я много думал о боевом расположении орудий и пришел к выводу, что противотанковый...

Смотрел я на Яхонтова, упивавшегося собственной сообразительностью и находчивостью, и думал, что, как ни странно, есть еще на свете безумцы, которые мечтают заново создать велосипед или часы...



— Да прекратите вы... Здесь ведь не полигон, где вы могли экспериментировать. Действуйте согласно Боевому уставу. Это единственная для вас программа действия.

Подполковник съехался. Меня всегда удивляла его способность мгновенно переходить от возбуждения к депрессии и наоборот. Возможно, это была лишь маска, рефлекс, выработанный многолетней военной службой, рассчитанный на начальство. Думаю, что так оно и было, ведь в душе он всегда оставался холодным эгоистом и расчетливым ханжой.

Остальной путь мы прошли молча. Правый берег Назин был сравнительно высоким и потому мог служить отличным наблюдательным пунктом. Отсюда хорошо был виден противоположный берег реки до синеющего вдали леса, на опушке которого укрепились немцы.

Но требовалась большая осторожность: любая беспечность стоила здесь человеку жизни. Достаточно было высунуться из травы, и немецкий снайпер попал бы прямо в лоб.

Мы проползли в высокой траве до самого обрыва.

Оказалось, мы здесь не одни: вокруг я заметил довольно много наблюдательных и командных пунктов и огневых позиций. На разведчиках были камуфлированные халаты, на головах — цветочные или травяные венки либо небольшой стожок сена.

«Хотя бы немцы не начинали наступления до утра», — думал я, не отрывая бинокля от леса. Я все ждал, что вот сейчас, сию минуту хлынет из леса лавина танков, но лес по-прежнему безмолвствовал. Только где-то неподалеку ухали орудия да строчили пулеметы, нарушая тишину знойного летнего дня.

У подполковника бинокля не оказалось. «Артиллерист без бинокля — не артиллерист», — вспомнил я ходячую поговорку и протянул ему свой.

— Посмотрите, что там происходит? — указал я в сторону леса.

Подполковник взял у меня бинокль и, тотчас же поднеся его к глазам, начал смотреть на лес.

Я усмехнулся в душе: когда опытному артиллеристу дают чужой бинокль, он обязательно приладит его окуляры к глазам и только потом будет смотреть.

— Видите что-нибудь? — спросил я.

— Очень смутно, — ответил он.

— Вы помните деление, соответствующее вашему зрению? Поставьте окуляры на это деление, и станет яснее, — посоветовал я ему с улыбкой.

Подполковник стал суетливо крутить окуляры.

Да... вряд ли Яхонтов при его умении обращаться с биноклем сможет осуществить корректировку огня...

Он очень быстро опустил бинокль, видимо, у него устали руки.

— Ничего подозрительного не вижу, — сказал он неубедительно, посмотрев на меня растерянными глазами.

— Хорошо было видно? — спросил я.

— Отлично, как на ладони, — тотчас откликнулся Яхонтов.



— Скажите, так же хорошо видно с вашего командного пункта?

— Каким образом, мы ведь в низине...

— И что же?

— Как что? — подполковник испуганно уставился на меня.

— Да то, — невольно вспыхнул я, — что и батарею, и свой командный пункт вы должны были расположить здесь! Этот холм господствует над всей местностью, и лучшей позиции артиллеристу не желать. А вы захоронились в яме, хорошо еще, вражеские танки до сих пор не пошли на вас. Скажите, можно простить подобную ошибку командиру полка?!

— Я подумал, чем менее мы будем заметны, тем будет лучше, — неуверенно начал он оправдываться, — а взобравшись на холм, мы сразу обнаружили бы себя... Кроме того, эта позиция была нам выделена...

— Согласно Боевому уставу, который вы читаете только по ночам и потому плохо помните, командир имеет право выбирать позицию в радиусе одного километра. Отсюда же до вашей батареи нет и одного километра, а место намного удобнее.

Подполковник молчал, растерянно моргая.

Правда, он знал наизуток задачи своего полка, сформулированные в посланном нами приказе, но этого было далеко не достаточно! Надо уметь глубоко осмыслить, всесторонне обдумать боевой приказ. Но разве Яхонтову это под силу?

Пройдя несколько десятков метров под прикрытием густой высокой травы, мы остановились.

— Товарищ подполковник! — громко обратился я к нему.

Яхонтов, поняв, что я собираюсь сказать ему что-то очень важное и значительное, вытянулся в струнку. Впервые он слушал меня так, как слушают старшего по должности.

— Как только стемнеет, поднимете батареи с занятых ими позиций и расположите их согласно вот этому плану, — я протянул ему план. — До утра надо успеть подготовить новые позиции и замаскировать их. За своевременное исполнение приказа отвечаете головой. Для большей оперативности на одной из батарей останетесь сами, на остальные две пошлите заместителя и начальника штаба. На первой, у Снегирева, буду я.

— Есть, товарищ майор! — бодро ответил подполковник, глядя мне прямо в глаза.

Мы стояли лицом к лицу и в упор смотрели друг на друга. Признаться, я испытывал внутреннее удовлетворение, не видя в его глазах ни страха, ни былой растерянности.

В это время послышалось шипенье, сопровождающее обычно полет мины. Я подумал, что подполковник с испугу сразу же бросится на землю, но он лишь глубоко втянул голову в плечи и чуть наклонился. Мина взорвалась в двухстах метрах от нас. Выпрямившись и увидев, что я стою перед ним во весь рост, подполковник заметно смутился.

«К счастью, он не трус», — подумал я.

Здесь мы расстались с Яхонтовым. Я предложил ему немедленно вернуться к себе, а сам решил еще немного понаблюдать местность.

Удивительная вещь этот фронт! Здесь люди, еще недавно



самоуверенные, исполненные чувства собственного достоинства, в один миг могут утратить эти черты, обмякают, становятся бесцветными, как вылинявшая тряпка. Зато другие, с виду робкие и застенчивые, вдруг раскрываются и начинают сверкать как благородный камень.

Я невольно сравнил прежнего Яхонтова, самодовольного, самовлюбленного, с тем Яхонтовым, с которым только что расстался, и почему-то проникся сочувствием к столь неожиданно изменившемуся на моих глазах человеку.

Наблюдая внимательно за полем боя, я за каких-то полтора часа насчитал до десяти огневых точек врага и перенес их на карту. Чем больше я изучал местность, тем больше убеждался в том, что немцы пойдут в наступление из леса.

Противоположный берег Назии был сравнительно ниже и, следовательно, легко преодолим. Кроме того, на той стороне лес доходил почти до самого берега. Конечно же, враг воспользуется этим преимуществом, и во время контратаки немецкие танки, несомненно, пойдут кратчайшим путем от леса к реке и атакуют тот ближайший от них склон, где стояли мы с подполковником. И тогда я убедился в правильности своего решения расположить две батареи яхонтовского полка справа от склона, три — слева. Таким образом, батареи будут иметь возможность вести боковой огонь, что особенно необходимо в бою с мотомеханизированными колоннами. Здесь же, на мой взгляд, следовало расположить и управленческую группу.

Через несколько часов меня нагнали мой заместитель, капитан Шербинский, и радисты. Весь груз они тащили на себе, не рискуя днем воспользоваться машиной. Водителю велели догнать нас, когда стемнеет.

Мы очень быстро оборудовали командный пункт, и я тотчас связался с Евжирюхиным, шифрованно поделившись с ним своими предположениями.

Радист Евжирюхина передал мне закодированную радиограмму. Начальник артиллерии сообщал: армейская разведка подтвердила концентрацию значительных сил немцев. По имеющимся сведениям, завтра утром, то есть 1 сентября, они перейдут в широкое контрнаступление, используя массированные танковые колонны.

Только поздно вечером я спохватился, что мы не ели с самого утра. Один из радистов отправился за едой в ближайшую батарею.

В этих краях северной России лето прохладное. Но памятная всем нам ночь на 1 сентября была удивительно теплой. Я смотрел на усеянное звездами небо и все думал о завтрашнем дне.

Больше всего опасался я того, что враг может вклиниться в полк Яхонтова, и тогда батареи окажутся отрезанными друг от друга. Но иного выхода не было. Следовало перекрыть врагу главное направление.

Я еще долго сидел под открытым небом, вглядываясь в темноту.

Было далеко за полночь, когда я спустился в окоп, устроился поудобнее на сене и укрылся с головой витемем, спасаясь от назойливой мошкары. Окоп был узкий, около четырех ме-



тров в длину. В двух других окопах находились мои спутники, в четвертом мы оборудовали радиотелефонный узел.

Не знаю, сколько времени я спал. Во всяком случае, когда я проснулся от того, что меня кто-то тормозил, было еще темно.

Я различил чью-то тень. Склонившись, тень тормозила меня сильной рукой. Несомненно, пришелец был старший по званию, потому что подчиненные никогда не будят начальника столь бесцеремонно.

Выбравшись вслед за незнакомцем из окопа, я тотчас узнал в нем полковника Чуднова.

Я хотел было приветствовать его и доложить обстановку, но Чуднов, взяв меня за локоть, с силой привлек к себе и похлопал по плечу.

Такой встречи я, признаться, не ожидал, зная сурового, скупого на проявление чувств Чуднова.

— Что, и поспать не дадут?

— Я уже выспался, товарищ полковник.

Чуднов снова обнял меня за плечи. Мы пошли вдоль окопа. Пройдя немного, полковник примял ногой траву и сел прямо на землю. Я последовал его примеру. Земля была холодной. Я поежился.

— Сходи за шинелью, сейчас не мудрено простудиться, — сказал мне Чуднов.

Когда я вернулся, он отстегивал флягу, потом протянул мне ее крышку, наполненную водкой.

Я проглотил водку одним духом и тотчас почувствовал, как по всему телу разлилось тепло. Чуднов тоже выпил. После второго «захода» земля уже не казалась мне холодной, и воздух словно стал теплее.

Мне хотелось сказать этому суровому, внешне крутому человеку самые добрые, самые теплые слова, но я все не мог отрешиться от навязанной военной службой привычки соблюдать субординацию. Наверное, потому военные люди так скупы в выражении своих чувств.

— Бог троицу любит, — сказал Чуднов, и мы выпили по третьей.

— Дай бог здоровья военной фляге, вроде и мала, а как вместительна...

— Примешь в свою группу? — после недолгого молчания спросил Чуднов.

В темноте я смутно видел лицо полковника, но чувствовал, что он улыбается. Пошарив в кармане, он вытащил табак, закурил, прикрывая огонь обеими ладонями.

— Вот что... — повернулся ко мне Чуднов, — завтра немцы начинают контратаку.

— Знаю, — ответил я.

— Наверное, тебе известно и то, что всю эту операцию мы должны провести собственными силами. Ни мы, Волховский, ни Ленинградский фронт не получили пополнения. Командование нашего фронта не может усилить этот участок ни артиллерией, ни стрелковыми частями. Не рассчитываем и на авиацию: все поглощают южные фронты.

— И это я знаю. На совещании говорилось...



— Да, придется нелегко, но надо выстоять. Выстоять во что бы то ни стало.

— Что касается нас, артиллеристов, задачу выполним. Я надеюсь на свои батареи.

— А на Яхонтова?

— Признаться, не очень.

— Ты должен быть рядом с ним, — после минутного молчания сказал Чуднов. — Что бы еще придумать?

— Заместителей командира полка и начальника штаба я распределил по батареям, велел подготовить запасные позиции, используем даже хозяйственный взвод. Вчера после ужина провели партийное собрание, народ настроен по-боевому...

Чуднов склонился ко мне:

— Не скрою, положение очень серьезное! Наши стрелковые части немногочисленны. По существу, это только боевое охранение. Вся тяжесть ложится на артиллерию. Но и этой силы у нас мало. Здесь находится, в основном, полковая и дивизионная артиллерия. Из резерва главного командования располагаем только яхонтовским полком, одним гаубичным и противотанковым и отдельным минометным дивизионом. В штабе ищут резервы, но не думаю, что поиски увенчаются успехом. Одним словом, все зависит только и только от нашего мужества... Я буду с вами... А теперь пошел, надо повидать кое-кого. На рассвете вернусь...

Я стоял, задумавшись, и смотрел ему вслед, пока его фигура не растаяла в темноте.

Когда заголубел рассвет, подполковник сообщил мне о готовности батарей на новых позициях. Обозревая в бинокль противоположный берег, я не заметил ничего подозрительного.

Завтрак тоже прошел спокойно.

Но я не находил себе места. Внутреннее напряжение росло во мне с каждой минутой. Лишь тот поймет мое состояние, кто сам испытал ожидание боя.

Около девяти часов до нас донесся отдаленный гул.

«Начинается», — подумал я и посмотрел на небо.

Гул все больше приближался и усиливался. Сомнений в том, что это вражеские самолеты, не могло быть. Но сколько их и с какой стороны заходят?

Вражеская авиация в этом районе не появлялась больше месяца, и мы, пожалуй, вовсе позабыли о ее существовании.

Я рассматривал небо в бинокль. И вдруг заметил в нем вереницу огромных черных «хейнкелей».

Они шли в строгом порядке на высоте приблизительно двух с половиной-трех километров. В каждом ряду было по три бомбардировщика, а рядов я насчитал больше сорока. Значит, в небе было больше ста двадцати самолетов.

Вражеская армада следовала вдоль линии фронта и летела к центру лежащего перед нами поля.

Я не отрываясь следил за самолетами. Бомбардировщики хагипнотизировали меня, как ледяные глаза огромного удава. Наконец, оторвав взгляд от злобещих самолетов, я посмотрел направо и похолодел.

Оттуда под таким же углом и на той же высоте шла новая группа вражеских бомбардировщиков.

Несколько минут спустя земля вздрогнула от взрывов, черный туман покрывал небо, и мрак поглотил оба берега реки. Земля качалась, стонала, как при землетрясении... Адский грохот, запах гари, вихрь пыли и дыма, страшный визг бомб захватывали нас стальными клещами, леденили душу. Нет ничего обиднее того, когда опытный солдат, выработавший в себе боевые навыки, чувствует свое полное бессилие и бесполезность.

Мне не раз приходилось отражать атаку врага, но тогда я отвечал за судьбу бойцов, находившихся у меня в подчинении, и это обязывало меня быть собранным, находчивым, не ведать страха перед опасностями и даже перед смертью.

В таких случаях неизбежно становишься смелее, потому что тебе вверена жизнь других людей, которых ты должен вести в беспощадный бой. И ты не только находишь нужные слова к их сердцам, но и сам обретаешь силу, стойкость и ощущение нужности.

Когда ты знаешь, что твои слова для кого-то что-то значат, кому-то необходимы, ты находишь их. Слово, слово... Как часто мы забываем его силу и значимость.

Чтобы понять, осознать слово, порой необходима тишина — тишина, быть может, предсмертного часа, тишина отчужденности, возможно — забвения... Именно в такие минуты острее ощущаешь силу слова, но как жаль, что иногда это бывает слишком поздно...

Лежал я в окопе и думал... О чем? И сам не знаю. Обо всем и ни о чем.

В голове ронлись сумбурные, отрывочные мысли. Сознание, казалось бы, дремало, но я знал, что оно дремало лишь до той минуты, когда необходимо будет действовать... Эх, было бы совсем неплохо, если бы во время активных действий сознание человека работало так же интенсивно и уравновешенно, как в минуту уединения. Сколько бед не ведал бы тогда род человеческий!..

Впервые в моей боевой практике я лежал в окопе и наблюдал за тем, как крушат наши позиции самолеты с желтыми крестами.

Когда смолк гул самолетов, воцарилась тишина, обычная для внезапно прекратившегося боя. Но тишина оказалась минутной. Тут же дружно заговорила вражеская артиллерия.

И снова мы попрятались по траншеям. Но вот сквозь свист и шипение артиллерийских снарядов со стороны леса донесся до нас глухой гул моторов.

«Танки!» — промелькнуло в голове, и я бросился к брустверу.

Клубы пыли и дыма окутали реку и часть поля, находившуюся между ней и лесом.

Я напряженно вглядывался в туманную пелену, понимая, что минута, которую я ждал с содроганием, наступила: напротив холма, на котором мы находились, на расстоянии ста метров друг от друга из поредевшей дымовой завесы выползли два танка и рванулись вперед.

Еще мгновение — и за передовыми машинами двумя потоками хлынула танковая лавина.



Все произошло настолько быстро и просто, что я не сразу понял — вот оно, то самое, несущее беду начало, которое, я знал, придет рано или поздно...

Когда танки исчезли в высоких травяных зарослях, то виднелись лишь их оружейные стволы и башни, похожие на панцирь черепахи. Стволы раскачивались точно хоботы, и время от времени заволакивались белыми клубами.

Мы с подчеркнутым спокойствием ждали приближения врага...

В таких случаях мгновение длится как вечность, и ошутима даже десятая доля его. В ту минуту, когда я собирался броситься к телефону, чтоб спросить, почему не открывают огонь, раздались залпы наших орудий.

Первый танк странно закружился, слегка накренился и застыл.

— Молодцы, ребята! — крикнул я.

Но идущий следом танк не растерялся, он на полном ходу ловко обошел остановившегося собрата и направился к реке.

Остальные танки последовали за ним.

Наши орудия не смолкали.

Я увидел, как на берегу реки остановились еще два танка.

Но часть вражеских танков, быстро и легко форсировав реку и с ходу левее нас поднявшись на холм, врезалась в расположение наших войск.

Колонна танков, движущаяся справа, показалась мне не столь многочисленной. Чтоб дойти до реки, ей предстояло преодолеть более значительное расстояние. Головной танк шел не на большой скорости, видимо, дожидаясь, чтоб его нагнали остальные. И в самом деле, идущие вслед за ним танки прибавили скорость и нагнали его.

Я понял, что эта колонна танков будет атаковать нашу первую батарею.

«Что предпримет Снегирев?» — думал я напряженно.

Мне казалось, что время остановилось, хотя вокруг все двигалось и грохотало.

Бывают моменты в жизни, когда тебе кажется, что время ползет черепашим шагом или остановилось вовсе, а в другой раз оно несется таким галопом, что не дает тебе вздохнуть. Вот и сейчас мне казалось, что танки бешено несутся, а время остановилось...

Танковые атаки похожи одна на другую. Возможно, потому я думал, что подобное уже переживал в своей жизни. Но раньше было иначе... Прежде я был одним из самых действенных звеньев боя, ибо по моей команде «Огонь!» раздавались залпы орудий, каждое орудие знало свою цель. Теперь же вместо меня думал кто-то другой, другой отдавал приказы, другой стрелял, а я лишь наблюдал за полем боя.

Не выдержав, я уже было крикнул: «Огонь!», как дружно заговорила батарея Снегирева, и третий танк слева накренился на бок.

— Прямое попадание! — резюмировал я так, словно находился на артиллерийском тренаже.

— Странно все-таки наблюдать за боем со стороны, бездействуя. Все происходящее доходит до твоего сознания словно с



опозданием. Прежде, когда мне были подвластны батареи, я мог с точностью определить результаты стрельбы. Если подбитый танк по инерции все еще шел вперед, я знал, что он речен; не страшен.

А сейчас я видел, что танк подбит, и все-таки не верил своим глазам. Да, смотреть на бой со стороны надо все-таки уметь!

Внезапно время снова закусило удила и оголтело рванулось вперед. Секунда вмещала в себе час, с каждым мгновением менялась обстановка. Вражеская артиллерия не смолкала, ехри земли, поднятые взрывами, взметались до самого неба.

Когда правая колонна танков подошла к реке, снова дружно заговорила первая батарея, два танка справа вспыхнули огнем.

Неуемная радость охватила меня, и я почему-то вспомнил в эти минуты до неправдоподобности белоснежные зубы «комбата первого». Капитан Снегирев был подтверждением того, что нередко судьба одаривает человека всем: и красотой, и чистотой, и умом.

Лишившись двух собратьев, цепочка танков сжалась, не сбавляя однако скорости. Когда танки достигли реки, я решил, что они будут переходить брод. Неожиданно группа раскололась: часть танков скрылась в камышах на левом берегу Назии, другая, чуть отклонившись в сторону, поднялась по склону. Вторая группа состояла из четырех танков. Я видел их не ясно, но был уверен, что они с целью круговой обороны идут близко друг от друга.

Спустя время танки выползли из камышей и направились к своим позициям. Батарея произвела еще два выстрела, но безрезультатно.

А левая танковая колонна, врезавшаяся в наше расположение, молчала. Видимо, ей был дан приказ предпринять глубокий рейд.

Правая же колонна, скорее всего, служила для отвода глаз, она должна была привлечь к себе огонь нашей артиллерии, чтоб облегчить задачу атакующей левой.

Когда несколько затихла стрельба, из штаба позвонил Евжирюхин, просил подробно доложить обстановку.

Я высказал свои подозрения: атака танков у первой батареи была ложной, она предпринята для того, чтоб облегчить задачу левой колонне, которая прорвалась и углубилась в наше расположение.

Но Евжирюхин не поверил мне, наоборот, он в гневе кричал, что танки повернули обратно, и я этого не заметил и только зря сею панику.

Помните притчу о том, как муж воевал, а жена пересказывала соседям подробности этого боя. Вот и Евжирюхин стал разъяснять мне картину боя, свидетелем которого он, естественно, не был.

По его словам, фашисты всего лишь пытаются выявить наши противотанковые силы, уточнить возможность перехода через брод. Наконец Евжирюхин замолчал, и я, конечно, спросил его, что же мне делать дальше, какова цель моего пребы-

вания здесь, но генерал ничего определенного не ответил и поспешно повесил трубку.

Вот когда я понял наконец: подсознательно испытываемое мною чувство того, что мне не доверяют, не было ложным. Одного я никак не мог понять: почему все-таки послал меня сюда Евжирюхин, какую он цель преследовал?

Я думал об этом, не замечая того, что не перестаю обзрывать окрестность. Удивительно, но мрачные, тяжелые думы не смогли притупить во мне быстроту восприятия и наблюдательность.

С того берега, где в высоких зарослях виднелись башни и орудийные хоботы четырех танков, вдруг потянулись кверху мягкие клубы черного дыма и лениво расползлись над землей. Спустя мгновение, ветер поднял их в воздух, смешал. Вскресе вся местность, где притаились танки, была окутана черной пеленой. Я понял, что танки зажгли дымовые шашки, чтоб под их прикрытием либо атаковать наш берег, либо повернуть обратно.

Когда дым рассеялся, четырех танков уже не было. Словно ожидая этой минуты, прекратила огонь вражеская артиллерия, и снова воцарилась тишина. Я говорю тишина, ибо на глухой грохот дальнобойной артиллерии, взрывы снарядов и короткий треск пулеметов никто уже не обращал внимания. Это, разумеется, была тишина, хотя и относительная.

Я по очереди вызвал к телефону командиров батарей, говорил с ними и почему-то повторил то, что говорил накануне. И тут заметил в себе какую-то перемену. Я ведь не любил повторять уже сказанное однажды, что же теперь со мной произошло? Возможно, как и всякого «генерала без армии» меня обужал подсознательный страх — вдруг меня с первого раза не поймут? Потом я подписал небольшой рапорт, который надлежало послать Евжирюхину, и вдруг понял, что других дел у меня уже нет. Ведь так или иначе, но полномочным командиром полка был Яхонтов и каждая батарея имела своего командира.

Каковы же мои полномочия? Будь я на их месте, я, разумеется, не позволил бы никому вмешиваться в мои дела. Так по какому праву я должен руководить их действиями, тем более что пока, согласно сложившейся обстановке, они действуют верно.

Мне еще никогда не приходилось находиться в таком двусмысленном положении. С одной стороны, я облечен определенной властью, согласно уставу мне подчиняются полки, с другой — я сейчас был не у дел.

«В самом деле, зачем послал меня сюда Евжирюхин? — вновь закружились в моей голове прежние мысли. — Он не хотел, чтоб я был рядом!» Это говорил уже не я, а кто-то другой, затаившийся во мне. Твердил упрямо, с каким-то циничным злорадством.

«Почему же?»

«Думает, что я назначен для того, чтоб наблюдать за ним, и только и жду момента, когда он поскользнется?»

«Как он может так думать! — возмущался я. — Разве



его ошибка — не моя ошибка также? Кто определил грань между командиром и его штабом?»

«Эх, майор, майор, как вы молоды!» — услышал я невидимый мною смешок подполковника Яхонтова.

Я решил тотчас отправиться на одну из батарей и остаться там. Из штаба по прямой линии могут со мной связаться и на батарее.

Выбор свой я остановил на второй батарее. Правая колонна танков шла в начале боя прямо к ней. Фашисты любят методический повтор, возможно, они снова направят путь именно к батарее Светловидова. Решено, я иду к Светловидову!

Я направился к машине за шинелью и полевой сумкой.

В это время послышался гул. Я взглянул на часы: с момента появления первых немецких самолетов прошло три часа, было почти двенадцать...

В небе, все в том же направлении, на той же высоте и в том же порядке летели вражеские бомбардировщики. С той лишь разницей, что на сей раз их было значительно больше...

Как и в первом случае, они пытались захватить нас с двух сторон в клещи. Но если утром они бомбили противоположный берег Назин, в этот раз целью их был наш берег.

Затаив дыхание, следили бойцы за черными, закоптелыми огромными бомбардировщиками с желтыми крестами.

Отчаянно загрохотали среднекалиберные зенитные и залаяли тридцатисемимиллиметровые автоматические пушки.

Но вскоре их не стало слышно в ужасающем грохоте сыпавшихся на землю бомб.

Теперь мы были бессильны.

Теперь уже все зависело от случая.

Я всем телом прижался ко дну сырого окопа, втянул в плечи голову, но грохот пронизывал все мое тело, разрывал уши, как рвет ягненка разъяренный тигр.

Рядом со мной упал какой-то солдат, прижался ко мне. Его била дрожь. Спустя время, на нас навалился еще один боец, отчаянно матеря кого-то.

А вокруг все громыхало и ходило ходуном. Я видел, как багровые языки пламени разрезали пелену дыма и пыли. Мы задыхались от запаха гари, окоп дрожал от взрывов, как дрожит рыхлое брюшко толстяка во время внезапного кашля.

Я поднял голову. Мой сосед стоял на четвереньках. Он был в форме танкиста и в шлеме. Он стоял на четвереньках, странно вытянув тело, закрыв глаза, и из носа у него текла длинная тонкая, как нитка, сопля. Она свисала из его носа, как ледяная сосулька. Мне стали противны и сам я, и эти обезумевшие от страха люди.

Я присел на корточки и грубо крикнул им:

— Встать, мерзавцы!

Танкист утер нос рукой, незлобиво улыбнулся и, точно оправдываясь, спокойно сказал:

— Ну, скажите, разве такая смерть завидна? — в его твердом взгляде, во всем его облике не было ни йоты страха.



Предо мной стояли как бы два человека: один тот, с закрытыми глазами, сопливый и испуганный, которого я видел минуту назад, и вот этот — спокойный, сильный, бесстрашный.

— Что ты можешь сделать лежа в окопе, он тебе грозит с неба, а у тебя руки короткие, — пробасил второй боец. Это был огромного роста блондин. Он сидел в окопе, скрестив ноги, как Будда, и такой же спокойный и величественный, как индусский бог, безмятежно, не торопясь, закручивая самокрутку.

Мне стало стыдно за мой грубый окрик. Кто же больше испуган? Я, у которого только что вырвались эти слова, или они, в чьи сердца страх прокрался лишь на минуту и только потому, что они чувствовали себя во власти невидимой и недосягаемой силы и не могли встретиться с врагом лицом к лицу.

Их минутное замешательство объяснялось не трусостью, а только лишь пассивным (а потому и трудным) ожиданием смерти. Если бы они видели перед собой врага во плоти, зримого и доступного, — будьте уверены, ни один из них не дрогнул бы, ни одному из них не пришлось бы испытать те горькие, обидные минуты.

И снова мне стало стыдно за свою нетерпимость. Видимо, сказалась привычка командовать. Ведь не только кадровые военные, возьмите, к примеру, старых педагогов: как правило, они любят поучать и наставлять.

— Пусть никто не думает, что ему страх неведом, — глухо, словно про себя проговорил танкист, — страх живет в сердце каждого, но из одного сердца он быстро исчезает, а в другом остается, и надолго...

Я кивнул головой. Я был полностью с ним согласен.

«Трус тот, — думал я, — кто не может подавить страх, становится его рабом и теряет голову. А мужествен тот, кто заглушит в себе минутную слабость, наперекор всему, совершит отчаянный, смелый поступок».

Ведь я сам тоже бросился ничком на дно окопа, чтоб не слышать и не видеть, как рвались огромные бомбы и развороченная земля взметалась к небу. Мог ведь кто-нибудь из моих случайных соседей очнуться раньше, чем я, и также накинуться на меня.

Но что было, то было... А теперь мы втроем, сидя на корточках, с наслаждением дымили самокрутками.

Гул самолетов постепенно отдалялся, становился все глуше.

Вскоре все затихло, и лишь изредка кое-где разрывались бомбы замедленного действия.

Ничто не может сравниться с состоянием человека, пережившего смерть. Выбравшись из окопа, мы чувствовали себя так, словно заново родились. Неиспытанная прежде радость овладела всем нашим существом, и мы казались себе сильнее, увереннее.

А вокруг творилось что-то невообразимое.

Фугасные бомбы разворотили все окрест. Огромные воронки, глубиной в несколько метров, перемежались курганами черной рыхлой земли. Иногда они были похожи на майские терриконы шахт. В некоторых воронках мог бы уместиться двух-трехэтажный дом.

Повсюду скелеты искалеченных машин, трупы.

Там, где должен был находиться наш «Додж» и мои спутники, зияла лишь огромная яма... Сердце у меня сжалось, точно кто-то схватил его грубой рукой.

Я подошел к краю ямы и заглянул внутрь. Дно ямы было залито водой. Откуда здесь столько воды?

В нескольких метрах от ямы я обнаружил желтое гнездо телефона, а аппарата, не было видно.

Я огляделся.

Поодаль бродили понурые бойцы. Они брели, как слепые, уставившись в землю, словно искали на ней что-то.

Дым и пыль еще не рассеялись. Они повисли над нами, как горный туман. Наверное, потому немцы и не замечали нас.

Кто-то приблизился ко мне. Это были телефонисты из моей группы. Одежда разодранная, лица в копоти. На мой немой вопрос сержант Платонов хриплым голосом сказал:

— Капитан Шербинский послал нас восстановить поврежденную линию. Самолеты застигли нас в пути... Мы чудом спаслись, но они... — Сержант не договорил и посмотрел в ту сторону, где еще совсем недавно стояла наша штабная машина.

— Что будем делать? — спросил меня другой. Я взял планшет, на бланке рапорта написал Евжирюхину короткую записку и передал ее солдату. А сержанта я попросил пойти со мной во вторую батарею. Мне не терпелось узнать о судьбе наших подразделений.

Боже, что творилось на второй батарее!

Почти половина батареи, двадцать шесть человек, вышли из строя. Двадцать два человека убито, четверо тяжело ранены. Из оставшихся в живых почти все пострадали. Командир батареи Светловидов, его заместитель, комиссар и комвзвода погибли. Трупов не нашли — бомба угодила прямо в командный пункт. Был найден только бинокль командира. Взрывной волной у него отбило окуляры и отбросило далеко в сторону.

Я не знал, кого оплакивать. Я стоял совершенно растерянный на растерзанной земле и не понимал ни того, что мне говорят, ни того, что отвечал. Не существовало больше моей отважной, любимой второй батареи.

Сердце сжималось от боли, когда я смотрел на поверженные, разбитые и покореженные орудия.

Первая батарея пострадала относительно меньше, ибо находилась чуть левее полосы, подвергшейся бомбежке. Здесь было всего четыре убитых и столько же раненых. Все орудия уцелели. Лишь у одного повреждена угловая гусеница и сорвано переднее колесо лафета. Механик уже колдовал над ним.

Зато все пять машин были разнесены в щепки, батарея потеряла возможность перемещаться. В сложившейся обстановке это ничего хорошего не предвещало.

Мужественные связисты капитана Снегирева меньше чем за час восстановили прерванную линию связи, и капитан тотчас связал меня с Яхонтовым.

Подполковник говорил быстро и невнятно. Я ничего не понял из его скороговорки, кроме того, что третья батарея, где он теперь находится, мало пострадала. А с четвертой и пятой связь была прервана. Я велел восстановить ее.

Прошло еще три часа.

Как и следовало ожидать, ровно в три часа снова послышался отдаленный гул. Начинаясь третий заход вражеских бомбардировщиков.

На сей раз немцы пролетели параллельно передовой линии фронта, над ничейной полосой, потом неожиданно круто перерезали линию фронта и устремились к нашим позициям.

Если раньше они бомбили нас с большой высоты, не зная наверняка о силе нашей воздушной обороны, то теперь бомбили с высоты двух километров.

Я не отрывал взгляда от головного бомбардировщика, который летел впереди строя словно на параде. Следом за ним шли уже по три бомбардировщика.

Как говорится, лучше признаться, чем отпираться. Так вот, когда головной самолет вошел поглубже в наше расположение и, слегка покачивая крыльями, взял боевой курс, я почувствовал, что опасность грозит не столько нам, сколько линии позади нас, и облегченно вздохнул.

Затем повторилась картина первых налетов с той лишь разницей, что снаряды разрывались уже в пятистах метрах от нас.

«Хейнкели» бомбили нас так называемым «ковровым методом», каждый идущий следом бомбардировщик бомбил последующий по направлению полета отрезок. Они «расстилали» по земле свой огненный груз так, как разворачивают обычно свернутый в рулон ковер.

Поскольку нашим батареям, оснащенным восьмидесятипятимиллиметровыми зенитными орудиями, было запрещено стрелять по самолетам (я не считал это решение правильным, но был вынужден беспрекословно подчиниться), капитан Снегирев выдвинул свой командный пункт вперед, расположив его на пологом берегу реки.

Неожиданно перед нами появился Чуднов.

— Смотрите, смотрите, начали атаку! — крикнул он, указывая на левый фланг.

И в самом деле, несколько танков, колыхаясь, как раскрытый веер, двинулись по направлению к нашим позициям. За ними мы увидели немецких солдат, которые короткими перебежками следовали за танками. Их было очень много.

— Они атакуют и справа!

Мы перевели взгляд направо, где две цепочки вражеских солдат бежали к плотам, откуда-то появившимся на реке. Непрерывно строчили автоматы и пулеметы, свистели артиллерийские снаряды, к небу взметались фонтаны земли, от неимоверного грохота дрожал воздух.

Чуднов попросил Снегирева дать ему связного.



— Усилить огонь, не жалеть снарядов, не уходить, пока не получите приказ! — велел Чуднов и вылез из окопа.

Пробежав, пригнувшись, несколько шагов, он скрылся в длинной траншее. Он спешил к месту прорыва.

Всем было ясно, что немцы пытаются вклиниться в наше расположение с двух сторон, чтоб разъединить нас.

Вражеская артиллерия неистовствовала. Наступила самая беспощадная, самая жестокая минута.

Снегирев отдал приказ, и наша батарея открыла огонь. Снаряды разрывались у самой цели, на высоте трех метров от земли. На большом расстоянии мы могли вести бой с пехотными частями врага только таким способом. При их приближении мы перешли бы к прямой наводке и стрельбе шрапнелью.

Колонны перешедших в атаку немцев вторгались все глубже в расположение наших войск.

В бинокль хорошо было видно, как враг сконцентрировал в месте прорыва новые силы, танки, пушки, бронетранспортеры. За машинами следовала пехота.

Наша батарея была бессильна против такого натиска. Правда, орудия не молчали, но немцы словно и не замечали белых клубков от разрывавшихся снарядов, которые висели в воздухе, как ватные шары.

Со мною творилось что-то непонятное, я был похож на человека, который во время наводнения стоит, как оглушенный, на берегу реки в оцепенении и ждет той минуты, когда разбушевавшаяся волна снесет его. Совершенно растерянный, наблюдал я в бинокль, как немцы в касках, преодолевая реку, как муравьи, расплзались по нашему берегу.

Шум за спиной привлек мое внимание. Я оглянулся. Мимо быстрым шагом шли солдаты, во взмокших гимнастерках, разгоряченные и возбужденные. Одни тащили пулемет, другие миномет и противотанковые ружья. Шли, понуро склонив головы, молча, стараясь не отставать друг от друга.

«Отступают!» — пронзила меня неприятная мысль.

То, что мы будем отступать, я предвидел, но не думал, что это случится так скоро и почти без боя. Не думал я также, что нам не помогут, не подбросят свежие силы. Это было, пожалуй, обиднее всего. Но тогда я еще не знал, что у нашего командования не было даже лишнего батальона.

В те памятные своей горечью дни я на собственной шкуре испытал, как всеильны и беспощадны каноны военной тактики — дрогнул твой сосед, пропустил врага — и ты по его милости должен тоже отступать! Отступать, чтоб «выровнять линию», не попасть в окружение, быть рядом с отступающим соседом. Разве это справедливо?

Да, недаром говорится, «не купи двора, а купи соседа»... А на войне надежный сосед дороже жизни.

Долго еще отступали наши воины. Постепенно ряды редили, вскоре прошла только группа в несколько человек, которую замыкали два офицера. Они, поравнявшись с батареей, остановились и удивленно уставились на нас. Потом подошли к нам.

— Кто здесь старший? — спросил один из офицеров. На

петлицах его гимнастерки были полевые нашивки с тремя зелеными прямоугольниками подполковника.

— Я, — ответил я.

— Так чего же вы ждете? Не слышали приказ об отступлении на вторую линию обороны?

— Мне никто ничего не приказывал.

— Если не приказывали, — грубо прервал он меня, — то теперь я вам приказываю!

— Извините, но я не знаю вас, и кроме того...

— Я командир стрелкового полка подполковник Кротков, этот участок был поручен мне, теперь я руковожу отходом на запасную позицию.

— Пока мне не прикажет мой непосредственный начальник, я не сниму батарею, — сказал Снегирев.

— Я вашего начальника... — грубо выругался подполковник. — К черту технику, но люди? Людям вам не жалко? Немедленно снимите батарею! Слышишь? — закричал он.

— Товарищ подполковник, не видите, батарея в действии, не мешайте, иначе я буду вынужден...

— Дружище! — совсем другим голосом обратился он ко мне. — Не упрямясь, и мы... — он запнулся, — и мы не хуже вас, но приказ есть приказ... Ты сможешь их теперь остановить? — он головой кивнул в сторону немцев. Потом тихо продолжил: — Они и слева прорвали, взгляни... Через час будет уже поздно! Окружат нас, потом тебе же придется отвечать...

Он был, разумеется, прав, но что мне делать? Как мне снять батарею без приказа? Я велел телефонисту связать меня со штабом.

— Не надо, немедленно собирай батарею! Раз мы отступаем, то кого же вам ждать? — торопил меня подполковник.

— У нас и транспорта нет, — признался я.

— Тогда взорвите орудия или снимите затворы, другого выхода нет. Выведите людей, иначе все пропало.

Подполковник повернулся и, не прощаясь, пошел дальше. Я стоял в нерешительности, не зная, что предпринять. Связь была прервана, с кем посоветоваться, что делать...

Минуты неумолимо бежали.

А батарея продолжала стрелять по врагу. Снегирев руководил умело, изредка он оглядывался и смотрел на меня, как бы спрашивая совета. Тогда, подбадривая его, я молча кивал головой.

В это время, не знаю откуда и как, перед нами появился старший сержант Бабашкин. Он был весь взмокший, едва держался на ногах, видимо, нелегко ему пришлось, пока он добрался до нас.

Он передал нам письменный приказ подполковника перебазировать батарею на запасные позиции.

«Немедленно снимайте батарею и занимайте позицию южнее высоты 217» — гласил приказ.

Снегирев взглянул на меня.

— Что ж, надо действовать, и немедленно! — сказал я. И вот началось для нашей батареи то самое неприятное

самое горестное и унижающее, что запоминается солдату на всю жизнь.

Началось отступление...

Сколько боли, сколько оскорбительного в этом одном слове!

Время снова закусило удила, и стрелы понеслись минуты.

Все спешили. Даже те, кто до сих пор был спокоен и спокойствием своим подбадривал других.

Мы снимали у орудий оптические приборы, затворы, прицелы разбили молотком, облили бензином резиновые колеса лафетов и подожгли их. Все, что можно было унести, взвалили на спину и чуть ли не бегом пустились к запасным позициям.

Удивительнее всего было то, что по пути мы никого не встретили.

Почти в полном молчании шли мы к северу.

Выйдя на пыльную, потресканную от засухи, истоптанную солдатскими сапогами дорогу, мы увидели мчашуюся на большой скорости нам навстречу машину. Едва она поравнялась с нами, из нее выпрыгнул лейтенант и взволнованно обратился ко мне:

— Немцы перерезали путь, остался единственный, через село Гремячий Луг, немедленно поворачивайте людей, могут отрезать и этот путь...

Отовсюду доносилась стрельба. Мы уже не знали, где фронт, а где тыл. Над нами пронеслись истребители, кружа, снижались и летели совсем низко над землей.

Все труднее становилось идти. Люди заметно устали.

Наконец мы подошли к цепи холмов, где находились наши запасные позиции.

Снаряды проносились над нами и разрывались где-то далеко. Добредя по тропинке до гребня холма, мы увидели группу офицеров. Один из них, видимо, старший, сосредоточенно рассматривал полевую карту, расстеленную на бруствере окопа.

Скорее всего, это был штаб одного из соединений. Один из офицеров что-то спросил у проходивших мимо солдат. Те не останавливаясь кивнули в мою сторону. Когда я приблизился к офицерам, меня подвели к полковнику.

— Какая часть? — нетерпеливо спросил он.

Я ответил, не называя себя.

— Где вы стояли, покажи на карте, да постарайся точнее.

Я показал.

Он подробно расспросил меня обо всем, поинтересовался, вывели ли мы из строя оставленные орудия, сколько у нас винтовок. Потом он поручил нас одному из своих подчиненных, велел выделить нам позицию и использовать нашу батарею в обороне.

Старший лейтенант показал уже готовые окопы в полутора километрах и велел нам немедленно организовать круговую оборону.

Каждый боевой рубеж, каждая огневая позиция, которые



приходится оборонять ценой жизни, становится для бойца как бы родным кровом.

Когда мы начали отступать, всеми владело чувство безысходности, точно мы оказались совсем одни на свете, забытые всеми и оторванные от родных, насиженных мест. Но стоило старшему лейтенанту показать наши новые позиции, как мы преобразились, лица солдат посветлели, глаза загорелись надеждой, словно мы заново обрели потерянный кров.

Что мы имели? Выжженный холм с разбросанными по нему глыбами камней, поросшими мохом, и не очень-то хорошие окопы (отрытые женщинами и детьми, которые работали на оборонительных участках). Впереди окопов простиралась голая низина, а над нами — белесое небо, с белыми хлопьями облаков, темнеющее с приближением сумерек.

И все...

Но мы все-таки чувствовали себя как дома и, несмотря на усталость, солдаты стали устраиваться, каждый занял отведенное ему место. Устраивались так основательно, словно собирались здесь зимовать.

Когда же нам раздали сухой паек (старшина проявил свои способности!), мы почувствовали себя на верху блаженства. Все, что мы пережили, казалось дурным сном, мы словно и не помнили, что немцы прорвали блокаду, вошли в наше расположение, согнали нас с насиженных мест, потом загнали на эту незнакомую безымянную высоту, не помнили и о том, что наутро нас снова ожидал бой...

Вечер подкрался незаметно. Смеркалось. Но небо алето с четырех сторон. Залпы орудий освещали все окрест, ракеты полосовали небо. Ни на минуту не смолкал чудовищный грохот. Время от времени от взрывов бомб, сброшенных самолетами, содрогалась и стонала земля.

Наши маленькие самолетчики ПО-2, прозванные «кукурузниками», непрерывно бороздили небо, тарахтя, как мотоциклы.

Я взял у взводного фонарь, примостился в углу окопа, с головой укрылся шинелью и стал писать. Я намеревался как можно точнее и подробнее доложить Евжирюхину обстановку, но мне трудно было сосредоточиться, столько вопросов не давали мне покоя, требуя немедленного разрешения. Я сам не понимал своих задач, прав и обязанностей! Кто я, и почему я тут? Я чувствовал себя дублером командира даже не полка, а всего лишь одной батареи.

Если я начальник штаба, то должен находиться при штабе. Что же получается? Я называюсь начальником штаба артиллерии армии, а сам, как нянька, тащусь за батареей с четырьмя орудиями. Не должен был я брать на себя эту миссию, — сожалел я. Евжирюхин не имел никакого права насильно спровадить меня из штаба! Ничего не скажешь, милое дело, мой заместитель сидят при штабе, руководят боем (если они вообще могут руководить), а я здесь маюсь без настоящего дела!

Признаться, сейчас мне трудно было оставить батарею, я не имел на это морального права! Я знал также, что никто не погладит нас по головке за оставленные орудия. Так или иначе, но с меня и Снегирева, несомненно, спросят. Но что было делать? Губить людей? Разве мы виноваты в том, что вражеская авиация уничтожила весь наш транспорт, все наши орудийные тягачи? Не могли же мы вручную тащить за собой орудия!

Поневоле я сам все время оправдывался перед собой, так рьяно спорил с невидимым судьей, словно кто-то обвинял меня в гибели батареи. Что же это? Что меня мучает? Совесть, сожаление?

О полке я по-прежнему ничего не знал, не знал также, успел ли Яхонтов вывести остальные батареи.

А куда девался полковник Чуднов? Будь он рядом, помог бы советом, при случае защитил бы (я почему-то верил в это!). А теперь, кто знает, может Евжирюхин или еще кто-нибудь будут считать, что мы действовали неверно!

Я написал Евжирюхину обо всем подробно, не упустил и того, что, по-моему, могло мне пригодиться когда-нибудь, если понадобится оправдываться..

Да, нередко, чувствуя ответственность, человек становится осторожным и предосторожным.

Под конец я заключил, что в такой ситуации нам здесь нечего делать и завтра мы возвращаемся в штаб.

Было уже близко к полуночи, когда к нам пришел низкорослый подполковник, заместитель командира дивизии. По-спросил нас обо всем подробно, записал что-то, дал указания и перешел к нашим соседям.

Ночь я провел беспокойно. Клоуило ко сну, но стоило мне положить голову, как сна ни в одном глазу. Я вскакивал, выглядывал из окопа, прислушивался к тишине, обходил посты боевого охранения.

На рассвете меня разбудил ужасный грохот.

**Кругом разрывались мины и крупнокалиберные снаряды.** Видимо, немцы считали нашу высоту главной в обороне, и поэтому мощнейший огонь артиллерии был направлен именно на нас.

Вражеские пушки находились, по всей видимости, где-то недалеко: едва до нас доходил звук, как тотчас разрывался снаряд.

Артподготовка немцев длилась двадцать минут и прервалась так же неожиданно, как началась.


Я перешел в поперечный окоп, ведущий в глубь обороны. Старшина Демченко раздобыл в соседней части кипяток и теперь поил нас чаем.

Я вытащил из полевой сумки склянку с одеколоном, чтоб протереть лицо и руки. В эту минуту на вражеской стороне что-то ухнуло. И засвистели снаряды.

— Ложись! — крикнул кто-то.

Я невольно втянул голову в плечи, и в тот же миг язык пламени, яркий как молния, ослепил мой окоп.





Адский грохот оглушил меня, я почувствовал жуткую боль в бедре и боку и в тот же миг понял, что падаю.

Падая, я увидел взметенные к небу столбы земли. Потом глаза у меня сами собой закрылись и в черной мгле поплыли огромные красные круги.

«Я ранен», — мелькнула мысль. На какое-то мгновение подступила тошнота, я тут же потерял сознание.

Когда я открыл глаза, то вместе с невыносимым головокружением ощутил такую пустоту в животе, словно меня выпотрошили и даже выкачали воздух. Хотелось спросить у кого-нибудь, что со мной, потому что сам я вроде и понимал, но все же не понимал этого. Отяжелевшие веки закрылись сами собой.

Спустя время я снова открыл глаза. Впереди маячили чьи-то спины в вылинявших от пота гимнастерках.

Я с трудом повернул голову, и земля пронеслась перед моими глазами так, словно я смотрел на нее из окна мчащегося поезда.

Я догадался, что меня уложили на носилки, и теперь, наверно, несут в госпиталь. И почувствовал неопишемую радость, что меня не оставили, что обо мне позаботились.

Надежда птицей забилась в груди. Я хотел поблагодарить тех, кто нес меня, но язык мне не подчинился.

Мне показалось, что я застонал. Перед глазами снова поплыли кровавые круги, такие, как давеча в окопе. Что-то тяжелое навалилось на меня, и я впал в глубокий сон.

Среди ночи я проснулся.

С трудом огляделся.

Прямо напротив меня виднелся столб, на котором висела керосиновая лампа, похожая на шахтерскую «летучую мышь». Видимо, я лежал в палатке.

Ко мне подошла женщина в белом халате и положила мне на голову что-то холодное. Не знаю, рука ли это была или мокрая тряпка. Но мне стало очень приятно. Вскоре я снова потерял сознание.

Кто-то разговаривал возле моей постели. Из всей беседы только одно слово засело в моей памяти — «гангрена». Я знал, что такое гангрена, моему соседу по ее милости отрезали ногу.

«К черту, пусть отрезают! Лишь бы я жил... Пусть даже обе режут, если надо... Да, да, если это необходимо... И даже руку... Только бы жить... Жить...».

Я хочу подбодрить врачей, сказать им, чтоб они не боялись, я все вынесу, все... И не буду в обиде на них, как некоторые, наоборот, буду благодарен и никогда не стану роптать. Но я не в силах вымолвить слова, даже открыть глаза...

Иногда мне кажется, что кто-то куда-то ведет меня.

Я очутился где-то, где было очень светло и ясно, потом у меня вдруг жутко заболело бедро, до того сильно, что мне захотелось кричать... Не знаю, кричал я или нет...

Никак не мог я установить, сколько прошло дней с тех пор, как меня ранило. Когда я открыл глаза, я увидел склоненное над собой морщинистое лицо женщины. На лбу у нее были такие же морщинки, как у моей бабушки, и глаза были такие же ласковые.





— Не бойтесь, скоро будете здоровы, — сказала мне женщина. Знала бы она, какую неопишемую радость, какую надежду зажгла этими словами в моем сердце.

«Значит, я спасен». Я хотел сказать этой доброй старушке, что не боюсь вовсе, но у меня не было сил.

...Да, но я ведь и не помню, как все это произошло.

Как не помню! Я был ранен в своем окопе, и упал... Да... упал... Интересно, почему смешались в памяти все эти картины?

...Я в Арадети, у моих друзей Ишхнели.

Потом меня с моим другом пригласили в деревню Саголашени.

Саголашеницы не дали нам вздохнуть, вино лилось рекой, а я, чтоб выглядеть молодцом, все пил и пил. Да, конечно, я перепил многих, но и мне пришлось несладко.

С трудом добрался я до отведенной мне комнаты и прислонился к стене возле окна. Сознание мое то обволакивалось туманом, то прояснялось. Я и не понял, когда и как перевернулся мое тело... Я пришел в себя только тогда, когда стукнулся подбородком о земляной пол. Помню, я удивился. Уперся рукой и попытался привстать, но не смог сладить с отяжелевшим, как свинцом налившимся телом. И снова упал. Не знаю, сколько я валялся на прохладном и сыром полу. Наконец кто-то помог мне, кажется, и тот был пьян, но меньше. Поднял меня, помог добраться до постели.

Едва коснувшись постели коленом, я упал на нее как подкошенный. Переворачиваясь, я подвернул под себя правую руку, хотел ее высвободить, но у меня не было сил сделать это.

И голова у меня как-то неестественно скривилась. Я пытался вернуть ей нормальное положение. Но тщетно. Наконец я кое-как высвободил руку, лег поудобнее. Мне казалось, на это понадобилась целая вечность. Как только я выпрямился в постели, как только почувствовал облегчение, вмиг впал в глубокий сон.

В жизни так и бывает — как только находишь выход из положения и становится чуть легче, тут же из памяти вычеркиваются перенесенные трудности и невзгоды...

...Я и сейчас испытывал чувство успокоения, ибо знал, что остался жив, и ничего другого уже не помнил. Сколько ни пытался, никак не смог вспомнить, что было после того, как я смочил платок одеколоном, чтобы протереть руки и лицо, и околдовал от того проклятого взрыва.

Помнил, что упал, что комья черной, рыхлой земли взлетели к небу — и больше ничего...

Я хотел восстановить те мгновения, когда меня ранило, вспомнить, что я чувствовал, вспомнить первую боль, но почему-то мне вспомнилось только, как я опьянел в Саголашени; желание лечь поудобнее, выпрямиться в постели заслоняло, затемевало собой все.

Три недели понадобилось на то, чтоб я немного пришел в себя.

Старая медсестра, которая напомнила мне мою бабушку, неторопливо, окая, как волжане, рассказала мне, как я всю неделю боролся со смертью, как меня навестил генерал Крюков и как спасли меня врачи с помощью какого-то чудодейственного лекарства...

От нее я узнал, что осколок снаряда раздробил мне бедро, повредил тазобедренный сустав... Я чуть было не истек кровью, но мне вовремя сделали переливание.

Два месяца спустя я смог встать и передвигаться с помощью костыля.

С этих пор дни потекли для меня интереснее, я включился в круговорот госпитальной жизни.

Кого только не встретишь в госпитале, чего только здесь не услышишь... Я узнал много такого, о чем на фронте, конечно, никогда не узнал бы.

Например, что комиссия под председательством представителя Ставки Верховного главнокомандующего по проверке проведения Мга-Сенявинской операции признала неудовлетворительным все руководство нашего фронта и входящих в него армий.

Комиссия обвинила командиров самых высоких званий в неумении руководить войсками, никто не скрывал, что многие герои — солдаты и офицеры пали жертвой бездарности некоторых генералов.

Потому-то в основном обновили командование фронтом и армией, выдвинули многих молодых, талантливых офицеров. Каждый день мы узнавали о новых назначениях.

Но больше всего имен можно было услышать, когда речь заходила о погибших.

И вот однажды среди погибших назвали человека, к кому я чувствовал особенное тепло. От живого свидетеля узнал я, что во время атаки немцев геройски пал начальник политуправления армии полковник Чуднов.

Я и сегодня не могу забыть этого сурового, но благородного человека. Я словно воочию вижу Чуднова, сидевшего на земле и наливавшего мне из фляги водку, и слышу, как он говорит: «выпьем еще по одной, бог троицу любит...».

...Госпиталь и в самом деле удивительный мир, а раненые — неиссякаемый источник для наблюдений и впечатлений. Но это уже другая тема, и об этом я расскажу, наверное, в другой раз...

— Майора Хведурели ожидают в красном уголке, — услышал я однажды, когда играл в домино с моими товарищами по палате.

Я тотчас передал костяшки другому и, насколько мог быстро, спустился на второй этаж...

За столом сидел незнакомый мне капитан. Он кивнул мне головой, но не встал.

Я удивился.

Мне сразу же не понравился пристальный взгляд его кошачьих зеленоватых глаз, плотно сжатые губы и одутловатые щеки.

Фуражка его лежала на столе. И это мне не понравилось. Я не люблю, когда шапки кладут на стол.

— Чем могу служить? — спросил я, с трудом садясь на стул.

— Наоборот, это я должен служить вам, — и капитан натянуто улыбнулся. У него были пожелтевшие зубы, на передних зубах из нержавеющей стали виднелся белый налет.

— Я слушаю вас, — нетерпеливо и, кажется, несколько резко сказал я.

Капитан, опершись о стол, приблизил ко мне лицо, заглянул в глаза, видимо, желая узнать, какое впечатление производит его слова, и с той же натянутой улыбкой проговорил:

— Я следователь прокуратуры Восьмой армии Волков... Вот мое удостоверение, — он вручил мне какую-то книжку.

— Что вам нужно? — спокойно спросил я, отводя его руку с протянутой книжкой и тоже посмотрел ему в глаза.

— Мне поручено выяснить, при каких обстоятельствах и с какой целью капитан Снегирев оставил орудия немцам... Если не ошибаюсь, вы тоже были там...

— Вы уже приступили к расследованию дела?

— Да.

— Тогда вы должны знать, что во время бомбежки полностью вышли из строя все автотягачи, как мы должны были тащить орудия? Знаете, сколько весит каждое?..

— Когда за автотранспортом недосматривают, он всегда становится добычей для врага.

— Что значит «недосматривают»?

— А то, что машины были брошены на произвол судьбы.

— А у вас есть доказательство того, что Снегирев... Что я и Снегирев, я нисколько не снимаю с себя ответственности, оставили машины на произвол судьбы?

— Товарищ майор, давайте договоримся: вопросы буду задавать я, а вы будете отвечать.

Он смотрел на меня сощурившись и заметно улыбаясь. Злость душила меня, но я сдержался и замолчал.

— Так вот, — спокойно продолжал он, видимо, довольный тем, что легко сломил меня, — орудия достались немцам. Прошу рассказать, как все это случилось?

Я рассказал все. Ничего не приукрашивая, не утаивая и не пытаюсь оправдываться.

— Знаете Снегирева?

— Знаю...

— Какой он офицер?

— Отличный.

— Нет, я спрашиваю с политической точки зрения.

— Разве оценка офицера не подразумевает и этого?

— Удивляюсь, почему вы так рьяно защищаете Снегирева? А он ведь за вас так не заступается.

— Я не нуждаюсь ни в чем заступничестве.

— Нуждаетесь! Снегирев утверждает, что орудия оставлены из-за вашей неосмотрительности!

На мгновение я, кажется, растерялся, но когда вспомнил чистого, правдивого Снегирева, вспомнил, как он любил меня, верил мне, — тотчас понял: капитан лжет. Непроизвольно я стукнул кулаком по столу и закричал:

— Лжете!



Капитан поспешно прикрыл своей сильной рукой мой зулак крепко сжал его и с неожиданной злостью прошипел:

— А ну-ка спокойнее, майор, иначе...

Сумасшедшая ярость, дикое бешенство овладела мной. Кровь ударила в голову. Не помню, как я вскочил на ноги, как схватил костыль и изо всей силы замахнулся на капитана... Он ловко увернулся, и костыль, попав в спинку стула, разломился. Я вторично замахнулся обломком костыля, оставшимся у меня в руках, но снова промахнулся — капитан, как ошпаренный, отскочил к стене.

Тогда я схватил графин с водой и запустил им в капитана. Тот увернулся опять и бросился к двери.

Кто-то нечеловеческим голосом кричал, проклиная живых и мертвых родичей капитана. Позднее я понял, что кричал я сам.

В комнату вбежали врачи и раненные. Моя старушка-медсестра коршуном налетела на капитана. Вскоре прибежал и перепуганный начальник госпиталя. Увидев меня совершенно неменяемым, он тоже накинулся на капитана:

— Как можно доводить раненого до такого состояния?

— А это можно? — капитан показывал щеку и вытирал выступившую на ней кровь, видимо, в него попал осколок графина. — Вы знаете, кто я и по какому делу прибыл? — тоненьким голосом выкрикивал побелевший как полотно капитан.

Мой сосед по палате, огромного роста танкист майор Еремеев, у которого правая рука была в гипсе, здоровой левой схватил капитана, приблизил к нему лицо и прошипел: «Кто ты? Вша ты тыловая, вот кто!». И вытолкнул его в коридор.

...В этой катавасии открылась моя рана, и меня на неделю вновь уложили в постель.

Все это вконец расшатало мои нервы, сотни тревожных мыслей не давали мне покоя ни днем, ни ночью.

Немного успокоившись, я написал два письма: одно офицерам штаба Евжирюхина, второе Снегиреву. Мне необходимо было выяснить, назначили кого-нибудь на мое место или же я по-прежнему числюсь начальником штаба. Спрашивал я и о Крюкове. Более всего интересовала меня судьба бывшего моего полка. А следовательно у меня больше не появлялся.

Я с нетерпением ожидал ответа и вот наконец получил его.

Майор Радлов — тот самый офицер с брюшком, который оформил приказ о моем понижении и которому потом пришлось стать моим заместителем, писал мне такое, что сердце у меня сжалось от боли: генерал Крюков погиб две недели назад. Оказывается, он летел на самолете «ПО-2» на один из участков фронта и повстречался с немецким истребителем. Воздушный пират так изрешетил отважного генерала и его летчика, что их с трудом опознали.

Я не смог дочитать письмо до конца, слезы мешали мне. Я вспоминал генерала Крюкова: он обнимал меня своими сильными руками и приятным басом говорил:

«Ну, будь молодцом, Хведурели! Помнишь Тихвин?!»

Разве я мог забыть Тихвин, где познакомился с этим заме-

чательным человеком, или же его самого — сильного, умного, доброго...

Только на следующий день дочитал я письмо. Оно было не-  
доброе.

Настроение у меня совсем упало: Евжириухина назначили на место Крюкова и возложили на него обязанности командующего артиллерией фронта, — писал мне с нескрываемой радостью Радлов. Под конец, будто бы между прочим, он сообщал, что на мое место начальника штаба артиллерии армии назначен вновь прибывший из штаба фронта полковник, поскольку мне необходимо еще долго лечиться.

А обитателей госпиталя лихорадило: каждый новый день приносил новые и неожиданные вести. И госпиталь жужжал, как растревоженный улей.

Поначалу пришел приказ об упразднении института комиссаров.

Большинство раненых были командирами, и каждый из собственного опыта знал, насколько осложняло военное руководство двоевластие.

Был конец октября. Я почти выздоровел и мечтал покинуть госпиталь.

В госпитале же я узнал о победе под Сталинградом. Эта весть всех нас несказанно обрадовала.

Начальство госпиталя вынуждено было издать специальный приказ, гласящий о запрещении спиртных напитков в палатах.

Медицинским сестрам спирт уже не доверяли: дежурный врач выдавал его буквально по капелькам и то после того, как убеждался в его необходимости. Но раненые находили-таки спирт или водку, чтоб еще раз выпить за победу.

Была еще и третья новость, которая радовала нас не меньше. Мы заметили, что командование стало смелее выдвигать молодых, хотя официальных документов об этом никто не читал.

В 1941 году в армию пришла талантливая молодежь со средним и высшим образованием. Эти люди учились в военных учебных заведениях не по принуждению, были смелее, решительнее и духовно намного богаче многих командиров старого поколения, среди которых, к сожалению, встречались люди малообразованные и малокультурные.

Но они уже успели завладеть ответственными постами, и сместить их, в принципе трудолюбивых, честных и смелых командиров, было нелегким делом.

К сожалению, такие считали интеллигентность и образованность отрицательными качествами для офицера, отождествляя их с мягкотелостью. Доведенная до крайности строгость и твердость воли — вот что они боготворили и чему поклонялись. Яхонтовы и евжириухины не желали сдавать свои позиции. Они считали армию своим родным домом, а тех, кто влился в ряды армии во время войны, — лишь временными попутчиками. Они отлично понимали друг друга и без слов и с какой-то затаенной злостью защищались от «некадровых» офицеров.

Искоренить яхонтовых было нелегко, и в этом я скоро убедился.

Настал день моей выписки из госпиталя. Солнечным декабрьским утром меня ввели в комнату с широкими, выкрашенными в белый цвет окнами. За столом сидели врачи. Меня обследовали, вислушали, поинтересовались моим настроением.

Наконец признали «годным к возвращению в строй», все врачи расписались в какой-то бумажке, и начальник госпиталя спросил меня:

— Куда вас направить, товарищ Хведурели?

— В отдел кадров артиллерии фронта, — ответил я.

В тот вечер раненые устроили мне проводы. Мы собрались в моей палате и по-братски разделили бутылочку водки. Ее хватило на один-единственный тост: за здоровье тех, кто покидает госпиталь, и тех, кому еще лечиться. Этот тост предложил танкист Еремеев, тот самый широкоплечий майор, который выдворил следователя.

Всю ночь я не смыкал глаз, беспокойно ворочаясь в постели.

Наконец рассвело, и мы (нас было восемь офицеров, выписавшихся из госпиталя) влезли в грузовую машину, крытую брезентом, и долго, до тех пор, пока красное здание госпиталя не скрылось из глаз, махали рукой провожавшим нас нянкам в белых халатах, врачам в накиннутых на плечи шинелях и раненым в вылинявших пижамах.

Я был бесконечно счастлив, что 1943 год буду встречать не на госпитальной койке.

Всю ночь ехали в старом, грязном, с разбитыми стеклами вагоне и к утру прибыли на станцию Малая Вишера.

Обгорелое, полуразрушенное здание вокзала производило удручающее впечатление. Мы вышли на шоссе и через несколько часов на попутных машинах добрались до штаба фронта.

Вишер в Ленинградской области оказалось несколько: Малая, Большая, Верхняя, Нижняя, Лесная, Полевая и т. п. Наконец в одной из Вишер мы попали в штаб артиллерии фронта. Многочисленные отделы штаба были разбросаны по всей деревне.

Три избы возле околицы занимал отдел кадров.

Мы взбежали по прогнившим деревянным ступенькам и, пройдя темный коридор, очутились в просторном, светлом помещении с низким потолком, где стояло несколько столов, покрытых синим картоном. В комнате никого не было. Мы нерешительно остановились в дверях.

— Что угодно? — неожиданно услышали мы. Из-за шкафа вышел высокий капитан с огромной книгой в руке и, не дожидаясь нашего ответа, сказал:

— Все обедают, скоро будут. Обождите в сенях.

Я никогда прежде не бывал в отделе кадров и, не знаю почему, чувствовал себя униженным, как бы стыдись своего нынешнего положения, точно я пришел предлагать самого себя.

«Хорошего офицера в «кадрах» не увидишь, — размышлял я, — он не будет сидеть здесь и ждать милости. Бывает, пошлют в резервную часть и жди потом, чтоб в каком-нибудь полку понадобился офицер именно твоей специальности и твоего



звания. Правда, артиллеристов нигде долго не держат, это «дефицитный» народ, но кто знает, все случается...»

Я был захвачен этими малоприятными мыслями, когда скрипели ступени, послышались громкие голоса и в избу шумно вошли офицеры.

— Ого, нашего полку прибыло, — весело сказал один, увидев нас.

— Свято место не бывает пусто, — со смехом отозвался второй.

Мои попутчики тотчас вскочили на ноги.

Я был вынужден последовать их примеру, хотя вошедшие не были выше меня по званию.

Офицеры, прибывшие со мной, имели при себе личные дела, у меня же не было ничего, кроме случайно сохранившегося старого удостоверения личности еще времен моего пребывания в полку.

Не без удивления узнав, что я был командиром полка, высокий капитан снова вернулся к шкафу, возле которого мы увидели его впервые, перерыл на полке какие-то папки, раскрыл одну и громко прочел: командир отдельного 1469-го артиллерийского полка майор Георгий Захарьевич Хведурели?

— Так точно! — ответил я.

К счастью, в отделе кадров фронта имелись личные дела на каждого командира отдельных частей. Капитан, захватив с собой наши личные дела, пошел вместе с нами к соседнему дому.

В комнате у противоположных окон друг против друга сидели два майора. В углу примостилась машинистка.

Капитан что-то доложил одному из майоров, положил перед ним документы и вышел из комнаты.

— Садитесь! — сказал нам усатый майор, оглядев каждого из нас, спокойно закурил трубку и стал проверять принесенные ему документы.

Судьба моих спутников решилась тотчас. Майор (он оказался заместителем начальника отдела кадров) сказал им:

— Отправитесь в распоряжение командующего артиллерией 54-й армии. Документы получите у капитана Николаева, того самого, который только что привел вас. Вы свободны... А вас я прошу остаться, — обратился он ко мне.

Он долго и внимательно изучал мое личное дело.

— Сколько вы пролежали в госпитале? — спросил он наконец.

— Около трех месяцев.

В листке учета кадров последним местом моей службы был указан полк.

— Вы были ранены, будучи командиром полка, не так ли?

— Нет. Я был начальником штаба артиллерии армии.

Майор взглянул на меня с таким удивлением, точно я рассказал ему небылицу. Он долго смотрел на меня, покручивая ус.

Я назвал число и номер приказа о моем назначении начальником штаба. Майор куда-то позвонил, но там ему не ответили.

— Вам надо подождать начальника отдела, — <sup>сказал он,</sup>  
— полковник скоро будет.

Мне недолго пришлось ждать в коридоре.

— Майор Хведурели! — позвал меня заместитель и велел следовать за ним.

Мы приблизились к голубому, украшенному резьбой дому с белыми занавесками на окнах, с дверью, обитой войлоком.

Майор постучался и надолго исчез за дверью. Наконец дверь снова открылась, на пороге показался майор и в замешательстве обратился ко мне:

— Полковник ждет вас.

Я вошел.

Кто-то поспешно встал с мягкой постели и пошел мне навстречу. Он был одет по-домашнему, в теплый свитер с высоким воротником, синие бриджи были заправлены в белые бурки с отогнутыми голенищами. Он стоял против света, поэтому лица его я не различал, но весь его облик, походка, движения показались мне удивительно знакомыми. Я взгляделся и оторопел: передо мной стоял Яхонтов! Он остановился, склонив голову набок, сложил руки за спиной и, прищурившись, улыбнулся мне.

Я к тому времени пережил немало и думал, что меня уже ничем не удивишь, но эта встреча была настолько неожиданной, что я долго не мог произнести ни слова.

Яхонтов приблизился, крепко пожал мне руку и спокойно (таким я его вообще не помнил) сказал:

— Не думали встретить меня здесь, не так ли? Что поделаешь, гора с горой не сходятся, а человек с человеком всегда встретятся... Я все знаю о вас... Между прочим, помните следователя, что приходил к вам? В том, что он отстал от вас, есть и моя заслуга.

— Мало приятного в том, что командира твоей батареи, твоего полка отдадут под суд, притом когда он не виноват... — ответил я и сам удивился, что начал с Яхонтовым разговор с такой странной фразы.

— Разумеется, — поспешно ответил Яхонтов и тотчас добавил: — Я не только потому заступился за вас... Конечно, и потому тоже, но... — как всегда многословно и скороговоркой говорил он, — одним словом, в этом вы правы... — он не закончил фразы и повернулся к майору, стоящему в дверях:

— Позови сержанта Сенину...

— Разве я не прав? — спросил я прямо, когда майор вышел.

— Эх, майор, не спешите... и не будьте так вспыльчивы, — визгливо засмеялся он. — Об этом мы еще поговорим... А теперь скажите, вы уже совсем здоровы, хорошо себя чувствуете?

— Хорошо, товарищ подполковник, простите... полковник!

— Да, получил, наконец... — он произнес эти слова так, словно говорил о чем-то незначительном для себя.

Я огляделся.

На стене, возле постели, висел свеженький китель с полковничьими погонами. Погоны ввели в армии недавно, и я внимательно рассматривал их. На правой стороне кителя сверкала

орден Александра Невского, пожалуй, самый крупный и красивый военный орден.

Дверь открылась, и вошла сержант Сенина.

— Товарищ полковник, вы звали?

— Узнала? — спросил полковник, указав на меня.

— Конечно же... — быстро ответила Сенина. Она гостеприимно улыбнулась мне своими блестящими глазами.

Странно, эта крупная, широкобедрая женщина показалась мне гораздо привлекательнее, нежели раньше.

— Ну что ж, принимай гостя!

— Сию минуту, сию минуту! — засуетилась Сенина и выбежала из комнаты.

— Я, дорогой мой майор, ворчун, но душа у меня добрая. И не злопамятен я... Не будь я таким, принял бы тебя иначе... Не обижайся, я это говорю просто так, по-дружески...

Я кивнул головой. Вспомнил поговорку: «Когда сидишь в лодке, не спорь с лодочником».

— Так вот, должен признаться, уж очень нескладно получилось у вас это. Чуть было батареею не сгубили. А все из-за вашего упрямства... Я ведь отлично знаю вас, ох, как знаю, — пригрозил он мне пальцем, — когда видишь, что ладонью неба не прикрыть... — полковник не закончил фразы, широко развел руками и пожал плечами.

— Вот я вовремя отступил и целехонькими вывел три батареи! Теперь все они боеспособны. Правда, людей помяло, но пополнение уже прибыло, и снова у нас три батареи. А на твоей стороне было всего две батареи, а теперь ни одной!..

Я не утерпел:

— Если бы мы тоже бежали, как вы...

— Извините, дорогой мой майор, мы не бежали! Нет! Мы отступили на заблаговременно подготовленные запасные позиции! Как раз все дело в том, чтоб знать, когда отступать, а когда идти в наступление!

Правда, полковник стал моим начальником, но я предпочел говорить с ним так же свободно и легко, как разговаривал прежде. Смена тона могла быть истолкована им как заискивание и подобострастие с моей стороны.

— Вам, кажется, первое удается больше!..

Полковник обладал великолепным даром: то, что ему не хотелось слышать или было не выгодно слышать, он пропускал мимо ушей.

Вот и сейчас он «не услышал» меня.

— Некоторых достойных ребят из трех батарей я представил к награде, вот и меня не обошли, — он показал на китель.

Дверь шумно распахнулась, и в комнату вошла Сенина с большим расписным подносом. Она ловко и скоро накрыла на стол и снова исчезла.

«Да, проворная женщина», — подумал я.

Словно угадав мои мысли, полковник проговорил:

— В моем возрасте, майор, жить без женщины очень трудно... Вот доживешь до моих лет, сам убедишься... Ну что ж, — поднял он стакан, — за нашу победу! — он чокнулся со мной и залпом проглотил водку.



Я с аппетитом ел холодные маринованные грибы.  
«Видно, он знает толк в жизни, — думал я, — вряд ли все это у него получается случайно... Хорошая женщина, хорошие грибы...» — я почему-то улыбнулся.

Представьте себе, полковник и на сей раз угадал мои мысли. Догадливость тоже своего рода талант.

— Думаете, наверное, что я люблю комфорт, не так ли? Дорогой мой майор, я лишь люблю во всем организованность, порядок, субординацию. Эти три вещи — основа жизни. От человека, который сам не умеет жить и другим пользы мало. А человеку нужна выгода... Возможно, не всем и не всегда, но человечеству вообще... это необходимо!..

Он снова наполнил мне стакан, себе налил до половины, извинившись, что ему больше пить не резон, возможно, его сегодня вызовут к генералу.

— Знаете, Евжирюхин обижен на вас, — доверительным тоном сказал вдруг мне полковник.

— Почему? — искренне удивился я.

— Ну скажи, зачем тебе надо было мотаться по передовым позициям?! — снова перешел он на «ты». — Раз тебе поручили штаб армии, тебе и следовало находиться при штабе. А тебя подхлестнула молодость, вот ты и рад стараться! И что же получилось? Там, где ты был нужен, тебя не оказалось.

Яхонтов незаметно перешел на тот домашне-фамильный тон, который мне претил и раньше. Но на этот раз меня огорчала ложь Евжирюхина, ведь было совершенно ясно, что Яхонтов повторяет его слова.

— Из-за тебя Крюков поднял целую бучу, хорошо еще... Нет, это, конечно, нехорошо, — поправился он, — но, одним словом, не погибни Крюков, Евжирюхину здорово бы досталось...

Дверь снова широко распахнулась, и Сенина на том же расписном подносе внесла стаканы и чайник.

— Пейте, пока горячий, — сказала она своим низким, грудным голосом и вышла, покачивая бедрами.

Я не спорил с Яхонтовым. К чему было теперь доказывать, что на передовую меня увлекла не моя «молодость», а приказ Евжирюхина.

«Оба вы одного поля ягоды!» — думал я о Яхонтове и Евжирюхине.

— Ты, наверное, слышал, что после той неудавшейся операции в составе командования нашей армии и всего фронта произошли большие изменения. Верховное главнокомандование сделало организационные выводы (последние слова он произнес особенно четко). Нам надо научиться лучше и воевать, и руководить... Иначе мы не победим!

Полковник встал.

Встал и я.

— А теперь приступим к делу, — сказал он и незаметно подтянулся. — Я тебя хорошо знаю, но пока не видел твоего личного дела. А личное дело офицера — его зеркало, хорошее дело — значит хороший офицер, отличное дело — отличный офицер.

С этими словами он подошел к столу, просмотрел мои документы.

— У вас хорошее личное дело, — спустя некоторое время сказал он, потом задумался и прошелся по комнате. — Теперь на меня возложена обязанность огромной важности: я руковожу артиллерийскими кадрами всего фронта. И знаете, почему мне это доверили? Потому что знают, что ничего противозаконного я не сделаю! Я могу ошибиться — никто не гарантирован от ошибки! Но заведомо против закона не пойду. Все должно быть так, как положено. Вы меня, надеюсь, поняли?

— Разумеется.

— Я о вас думал и прежде. Вы почему-то очень запомнились мне. Но, должен признаться, я был однажды обижен на вас, это когда вы... Как там его?... Да... вспомнил... когда вы меня упрекнули, будто я делаю вам сентенцу!! Я вам никогда подобного не делал и не сделаю. Но должен сказать, что вместо вас я, разумеется, не буду подставлять свою голову... Эх, была не была, давайте выпьем еще по одной! Если командующему артиллерией понадобилось бы, он до сих пор вызвал бы меня. Ну что ж! Выпили. Ты, дорогой мой майор, уже не молод, — снова перешел Яхонтов на «ты». — И смелости у тебя достаточно, офицер ты хороший, но не обижайся, прежней своей должности ты не был достоин... Крюков умел так делать... Возвысит кого-нибудь до того, что у несчастного аж дух захватывает, а другого, наоборот, так понизит!.. Теперь, не обижайся, такой должности ты не получишь... Не потому, что не осилишь, возможно, ты это сумеешь лучше другого, а потому что ты еще не заслужил этой должности. Если даже я пошлю тебя на эту должность, Евжирюхин не утвердит... Назначим тебя командиром отдельного полка. Это огромное дело — быть командиром полка. Полк ведь, мой дорогой, основное звено. Полк — это... Одним словом... В твоем возрасте лучшего и желать нечего. Что скажешь?

— Я благодарен вам, — откровенно сказал я и почувствовал к этому странному человеку, одновременно и ограниченному и здравомыслящему, и грубому и сентиментальному, то ничем не объяснимое добродушие, которое порой находило на меня.

— Ты в самом деле доволен? — спросил он, испытующе посмотрев на меня.

— В самом деле.

— А как бы поступил ты на моем месте?

Я на мгновение задумался.

В самом деле, как бы я поступил?

Видимо, действительно люди с возрастом становятся мудрее и терпимее. Вероятно, потому старшие относятся к младшим снисходительнее и доброжелательнее, чем младшие к старшим. Это не только заискивание перед наступающим поколением, но и инстинктивная забота о грядущем.

— Эх, майор, майор, разве может новое рождаться без старого? А вы смотрите на кадровых офицеров свысока. Да, да, не прерывайте меня, знаю, что это так! Я и мне подобные — лишь штыки Родины и ничего более! Мы принадлежим армии и душой и телом. И потому армия прежде всего принадлежит нам. Вне армии у нас нет ни личной жизни, ни дома, ни очага. Сегодня мы

здесь, завтра там, куда прикажут идти. Потому-то мы и заслужили право на уважение! А вы и вам подобные попираете именно это уважение.

Вы, молодые, разумеется, образованнее, сметливее, культурнее нас. Но большинство из вас в армии все-таки гастролеры, гости! Лишь одна десятая часть остается в кадрах, остальные снова надевают гражданскую одежду. А армия остается уделом таких, как я и мне подобные!

Если вы сейчас все перевернете, перевершите, а потом плюнете и уйдете, кому ставить все на свои места, кому чистить после вас? Плеваться легко, можно плеваться и на солнце, только этот плевок на тебя и упадет. Вы сперва убедите меня в том, что будете так же верны армии, как мы, и тогда я первый уступлю вам дорогу... Но пока вы этого не сделали, — а я уверен и не сделаю, — прошу прощения, не уступлю!..

За окном остановился крытый «виллис».

— Я вызвал машину для вас. Довезем до штаба армии, оттуда позвоните в ваш новый полк и попросите машину. Там уже будут ждать вашего звонка. Полк вам дали хороший, вновь укомплектованный, с новыми восьмидесятипятимиллиметровыми орудиями. Наверное, где-то через месяц начнется наступление, и если вы отличитесь, представим к награде... Ну, будьте здоровы! Ни пуха вам, ни пера! — он пожал мне руку и проводил до машины.

Я сел в машину. В окне я увидел Сенину. Раздвинув занавески, она махала мне рукой и улыбалась.

Всю дорогу я думал о Яхонтове, слова его отдавались болью в сердце. Он так произносил «я полностью принадлежу армии», точно просил за это вознаграждения, и потом, были я кадровым офицером или нет, армию я любил не меньше, и еще вопрос, кто в будущем окажется оплотом армии, ее костяком, добрые старые «служачки» или новые силы, пополняющие ее ряды...

Знакомые картины следовали одна за другой.

Покоренные деревья, сожженные дома, земля, перерытая снарядами, подбитые танки, машины и деревянные пирамиды с красными звездочками на братских могилах...

Издали, со стороны передовой, доносился привычный гул. Шумел фронт. Грозный, бушующий и беспощадный фронт, который был в то же время испытанием наших духовных сил.

И я подумал, что ничего не поддерживает эти силы так, как крепкая солдатская дружба, скрепленная кровью, и что нет на свете радости, сильнее радости победы!

Перевод Виктории ЗИНИНОЙ



# ФАКЕЛЫ, КВАЗИМОДО!

Рассказ

1

Здравствуйте, милостивый государь! Если бы вы знали, как я намучался, раздумывая, как предстать перед вами. Все хотелось посвежее, пооригинальнее начать свой рассказ, эдак на манер бесчисленного множества рассказов современных наших писателей. Кашлянуть, к примеру, или, почище того, начать прямо с наскакивания на классиков: ах, вы, мол, такие-сякие, это вам не ребячество какое-нибудь, не шуточки, вы сейчас увидите, каков я!

Короче, я думал и так, и эдак, и черт знает как, а под конец решил просто вежливо с вами поздороваться, как приличествует порядочному человеку; я и шляпу с удовольствием снял бы, но, увы, надо полагать, вам не доставит никакого эстетического удовольствия вторая (сравнительно меньшая) голова на моем затылке, вздутая и крепкая, как грецкий орех, и, пожалуйста, не сочтите за невоспитанность, если я все же не сниму перед вами шляпу.

Надеюсь, не утомлю вас рассказами о детстве, порой даже, с вашего позволения, кашляну, переведу дух; ну а покажусь скучным, можете захлопнуть мою книжку и развлечься «Гекльберри Финном» или «Тремя мушкетерами». Весьма обяжете. Мне и без того трудно рассказывать свою историю, так что не стану пожимать плечами и вырывать из ваших рук книг, заготовленных, чтобы стереть меня в порошок... И не закричу — имейте, мол, совесть, не давите меня! Гм! Кхе-кхе! Гм! Гм! Кхе!

Так и таким образом вам уже известно, что у меня на голове растет еще один маленький шар (моя голова тоже шар).

Хе... хе... Однако, государь мой, он не летает по воздуху, потому как осознал, что для моего организма это было бы смертельно...  
04115530411  
202501111315

В двадцатом веке людей занимают совершенно иные проблемы, разумеется... Какое кому дело до уродства, не правда ли?! Полагаю, вас несколько не заинтересует вид еще одного уroda! Ооднаако, знали бы вы, какое я оригинальное и ласковое существо! Да-с... От прочих головастиков и горбунов я отличаюсь не одной лишь формой головы..., но и фигурой. Я, извольте знать, необыкновенно щуплый.

Недавно в книге одного турецкого писателя (его фамилия, кажется, Таннер) я прочел, что у автора (повествование ведется от лица автора ее) в голове были часы и потому она тиктала (Хи! Хи! Хи!), и с необыкновенной, заметьте, точностью отсчитывала время. Мне, к сожалению, не удалось дочитать книгу; вошла сестра и вырвала ее у меня из рук; не время, говорит, читать... Ступай, говорит, почини крышу. У моей кровати, говорит, воды целая лужа натекла.

Починив крышу и спустившись вниз, я хватился книги, ооднаако... Ооох... кхе... гм... гм... Она как сквозз землю провалилась... Чудеса да и только... Сатана, должно быть, утащил.

Я лег в постель и ночь напролет думал о книге турецкого писателя.

В предисловии к ней говорилось, что за повесть (какую именно, не помню) писатель был удостоен Нобелевской премии. Потому меня особенно интересовал конец сего прекрасного философского трактата.

За одно тиканье в голове Нобелевской премии не получишь; наверное, часы были со звоном; заливались эдаким малиновым звоном и зачаровали комитет по Нобелевским премиям.

Так-с, теперь послушайте, какие мысли во мне родились; насколько я понял, сей писатель был физически нормально развитым человеком, то есть имел обыкновенную голову. В ней, конечно же, мог уместиться только маленький будильник... Словчился-таки, заставил зазвенеть чудным звоном обыденный будильничек...

Теперь... кх... кх... кх... гм... ма, представьте себе, как я был бы счастлив, если бы сумел открыть, свою черепную коробку. Я положил бы туда не маленькие, нет, большущих размеров старинные часы: они не звонили бы, а гудели... прычаали, лаяли!!! Кхе! Гм... м... г!

Тогда бы меня двойной премией наградили и я смог бы купить себе новый костюм, поскольку старый, прямо скажем, поистрепался. Ооднаако, с другой стороны, мне кажется это несколько рискованным—чего доброго, часы так загрохочут (все полетит к... Нет, помолчу лучше, все равно сочтете хвостовством), что у членов комитета по премиям лопнут барабанные перепонки. Как тогда прикажете поступать? Придет ко мне кто-либо из них: бери, мол, братец, заслуженную премию, на здоровье.

«Благодарю, отвечу, милостивый государь».

Он поднесет ладонь к уху: «Ась, спросит, чего, чего?!».

«Спасибо», повторю.

А он снова — «Ась?».



*Я родился в 1950 году в г. Тбилиси. После окончания школы поступил на факультет педиатрии Тбилисского медицинского института. Писать начал рано. Мои первые стихи были опубликованы в 1970 г., а первый рассказ — в 1975 г. в журнале «Цискари». В этом году вышел первый сборник моих рассказов.*

*Мераб АБАШИДЗЕ.*

Я уже отмечал, не такой я невоспитанный, чтобы послать его ко всем чертям или почище, сказать что-нибудь такое в рифму к его дурацкому «ась», что-нибудь такое, что обидней.

Ооднаако! Хи! Хи! Воспитанность тут ни при чем! Тут дело не в одной воспитанности, но также в страхе: упаси бог, комитетчик только обидную рифму услышит; услышал — и поплелся обратно со своей премией. Доказывай потом, что ты только вежливо спрашивал: «что угодно-с?», а не слал ко всем чертям или, уже сказано, почище того.

2

Так и таким образом. Мне удалось как бы вскользь уведомить вас, что у меня сестра, старый костюм и крыша в доме течет.

Вы спросите: как я мирюсь с этим?!

Мирюсь, а если мучаюсь, только из-за того, что надо мной... насмежаются.

Ооднаако! Не насмешка меня обижает. Ничуть не бывало! Нет-с! Это мелкое дурачье полагает, когда я отвечаю на их насмешки оглушительным, уничтожающим хохотом, оно полагает, мелкое дурачье, что мой хохот — оружие обиженного человека и ничего больше...

Хи! Хи! Государь мой! Перед вами далеко не простое и примитивное существо, которое могут огорчить ваши подзатыльные-



ки. Мы, извольте знать, скроены на иной лад, на иной-с! Если же сейчас от радости зайдусь в пляске, вы опять же скажете + прикидывается...

Хи! Хи! Господа человечки! Уродство мое открывает мне путь в мир, который вы никогда не удостоитесь лицезреть!

Нет, не удостоитесь! (Тут я почесал затылок). «Вы, конечно, уже знаете, что я вам должен сказать» (я обращаюсь к людям словами одного моего знакомого), я — угнетенный и обиженный — решил насладиться красотами природы. Природа, понятно, никогда не теряет своей привлекательности.

Ооднаако! Ооднаако! Ооднаако!  
Наслаждаюсь я иначе, нежели эстеты XIX века... Да-с, иначе!

Они (эстеты) назначали свидание саду роз и берегу реки, а же.. («ты не плачь, подружка моя») скале! Чего-сь?! Может, думаете, хочу показаться оригинальным?! Ничуть, государь мой, я никогда не нахлобучу маску фальши и оригинальности на собственные страсти!

Эгей, скала, выисящаяся перед моим домом!.. Они думают, что моя любовь к тебе — оригинальность. Сколько из вас, наверное, увенчают мое стремление юмористическими эпитетами!

Ах! Да пусть себе; я же в море вкривь и вкось перекошенных рыл со ртами, до ушей растянутыми в насмешливой, издевательской улыбке, люблю стоять перед тобой, скала... Чем выше волны этого вонючего моря, тем сильнее я блаженствую и тем острее моя любовь к тебе... В такую минуту хочу разбиться о тебя, скала, вьестся в тебя костями, рванью мяса, брызгами крови...

Не отстраняй меня холодно, с отвращением, ибо в моем стремлении нет ничего омерзительного.

Да! В книге какого-то аргентинского писателя выведена (фамилию его точно не помню, Контрасариа, кажется!), так вот, в ней, книге аргентинского писателя, выведена женщина, сестра милосердия. Она, значит, работала в госпитале, сестрой милосердия и повстречалась там с раненым, выходила его, потом видит, что мужчина возжелал кое-чего еще, и не отказала. Она его не любила. Он ей даже не нравился, ооднаако! — гуманизм, государь мой, человечность! Да-с.

Хе! Хе! Ты, пожалуйста, не думай, скала, что я мечтаю попасть в госпиталь!

Ничуть не бывало! Я вот о чем хочу тебе сказать: не такой я «гуманный изменщик», как та женщина, и ты тоже не будь ко мне холодна. Согрей меня, скала! О, как щекочут меня твои наточенные пики... Ай да скала!.. Вот так скала! Неужто ты думаешь, что я могу променять тебя на цветы или реку?!

### 3

Я часто задумывался, откуда во мне такое стремление?! Что его породило?! Может, чувства в течение веков стали до такой степени утонченными, что стремятся разбиться о природу и

слиться с ней, или просто провидение одарило меня лишь одной способностью — наслаждаться красотой. Провидение нагружает и наполняет меня красотой, которая не находит выхода (Я ведь не какой-нибудь творец, художник, скажем, музыкант или писатель!).

Xe! Xe! А будь я, предположим, художником, скала! Тогда и я сумел бы распустить тебя желтыми волосами и сплести в косу...

Ооднаако... Одно меня интересует: сумел бы я и тогда выдержать этот смех? Ощутить блаженство общения с тобой? Не знаю! Не думаю!

А было бы неплохо, было бы неплохо, провидение, не жаловать меня этим шариком на голове и впридачу достойным Андро и его дружками! Или... подарить мне шапку-невидимку! Дабы я не был вынужден вскакивать с постели в 7 ч. 00 мин. и полтора часа как церковный нищий стоять у дверей школы, ждать, пока придет уборщица и откроет двери...

Да, правда!.. Кто такой Андро?! Андро — сын священника церкви, расположенной неподалеку от нашего дома... В 8 час. 00 мин. (ровно в 8 час. 00 мин.) он выбирается из дому в сопровождении своих друзей-приятелей...

Сперва они заходят в хашную<sup>1</sup>...

Пропускают по маленькой...

Потом выходят на улицу и... Сами прекрасно изволите знать...

Хохот, гогот, приставање к девушкам, шум и крики, и глухие звуки ударов по скулам ребят из соседнего квартала...

К сестре моей они относятся с уважением и, когда я иду рядом с ней, ни-ни, не пикнут... Но в последнее время я несколько раз заметил слезы на глазах сестры... Видно, она страшно переживает присутствие рядом с собой столь неэстетичной на вид личности. Вот я и решил ходить по улицам без нее. Исключительно в одиночку...

Хождение в одиночку извело и уничтожило меня совершенно. Насмешки я-то переношу, но когда за издевательским смехом следует увесистый пинок в зад, завидовать, как говорят, не приходится. (В конце концов, грязь на дороге буквально не высыхает... недолго и упасть... Они, что ли, мое платье постирают?!).

Впрочем, я тоже однажды всыпал будь здоров как! И кому?! Андро... Прямохонько... Кхе... гм!

Был вечер. Я возвращался домой.

Он шел с какой-то девницей.

Увидел меня...

Подошел...

Схватил вдруг рукой за ремень и, что вы думаете? Приподнял! Приподнял и спрашивает свою паскуду-приятельницу: как тебе нравится? Она, хорошо, доброй оказалась (Фиф! Дорой!), схватила его за плечи и крикнула: отпусти сейчас же!

Андро держит меня на весу и хохочет.

Я тоже захохотал...

<sup>1</sup> Столовая, где подают хашни — род супа из говяжьих потрохов.

А как только попросил опустить, опустил тотчас же, опустил осторожно, порылся в карманах, вытащил конфету (дело было в день второй Нового года) и протянул мне. Я, бахнется, конфету съел, продолжил путь вместе с великолепной парой, судача о том о сем, а приблизились к дому, поднял с земли кирпич, поиграл им несколько раз подбросив на ладони... и... бац прямо в вонючую скулу своего оскорбителя!

(Одно только вышло не очень красиво: только я его бабахнул кирпичом, тотчас ноги в руки).

Он за мной... припустил со всех ног. Убегая, я потерял равновесие, упал и раз-другой перекувырнулся через голову... Балбес этот—на меня... Я выскользнул с быстротой молнии и угостил его, стоящего на четвереньках, превосходным ударом ногой в зубы... выкрасил морду, ни дать ни взять пасхальное яичко...

Ладно-с. Стою. Держу кулаки наготове...

Гримасу скорчил страшнющую.

Он привстал...

Он был, скажу прямо, несколько поражен неожиданным оборотом дела.

Я опять двинулся на него, но он вдруг вскочил и поддал мне ногой в одно место так, что я еще раз перекувырнулся в воздухе и шлепнулся в грязь, словно ангел с обломанными крылами.

Ну и надавал он мне...

Впервые в жизни тогда к моим глазам подступили слезы (однако сейчас об этом говорить не стоит и...). Да, правда... я, конечно, мог убежать... Ооднаако (не правда ли, я часто повторяю это слово?) внезапно почувствовал, что интересуюсь, до каких пор могут лягаться эти подкованные копыта. Я прекратил «источать слезы» и после каждого удара гордо выпрямлялся перед ним вымаранный с головы до ног в грязи.

Возможно, читателю покажется банальным мой «истеричный» поступок, но тем не менее мне казалось, что передо мной стоит не человек, а скала, которая сама хочет о меня разбиться! (Какое странное чувство, не правда ли, дамы и гггоспоода?!). Передо мной стояла разъяренная природа во образе человека и нещадно меня избивала! О, какое блаженство... Боже мой! Еще! Еще! Я все вынесу! Еще сильнее! Так! Пытайте меня! Я буду целовать вам руки! Толчите меня ногами! Они открывают мне путь к иному миру! Я припаду к коленам вашим! Высушу на щеках своих слезы! В моих глазах не сверкает огонь мщения! Я вас люблю! О, как-я вас люблю! Размолотите мои слабые суставы! Пронзите меня каленым железом! Облейте кипящей смолой! Все равно, хохоча, восстану я перед вами... разведу руки в стороны... и буду стоять так... в ожидании нового удара!

Хе! Хе! Господин европеец! Вы, наверное, думаете, что я хочу вас разжалобить?! Да что вы, господь с вами! Будь я сукинным сыном, если нечто подобное хоть раз мелькнуло в мыслях... Неужели вы полагаете, я настолько унижусь, что словно щенок какой, помахивая хвостиком, лягу на спину у ваших ног и скажу — смотрите, господа, эти мои мучения нечто новое в сфере чувств, уверуйте же в их новизну?!



Вы, смею думать, еще обвините меня в провинциализме, извиняешься, мол, хочешь оправдаться перед кем-то или перед чем-то! Человек, мол, всюду человек, его радость и горе повсюду похожи друг на друга.

Это блаженство, государь мой, не сочтите мазохизмом. На мой взгляд, оно суть чувство настолько новое, что человечество пока не придумало для него названия.

Оно, разумеется, в данном случае мое — уroda... Но, несмотря на это, оно особое... Не надо брать его на руки и разглядывать с ухмылкой. Подобной насмешки я на-верняка не перенесу!

4

Читатель так или иначе увидел, что я из себя представляю! Теперь очень хочется познакомить вас с сестрой.

«Поздоровайся с дядей за руку, Нинка!».

Видите... стесняется... Она всегда была такой стеснительной... Стеснительной и веснушчатой!.. А так, эти веснушки нисколько не снижают ее привлекательности... Напротив, они ей даже к лицу...

Взгляните, какое у нее стройное тело и ножки... Высокая грудь. Приятная внешность... Вместе с тем она проявляет по отношению ко мне сколько может тепла, впрочем... не скрою, кажется, она будет рада, если в один прекрасный день меня принесут домой с проломленным черепом.

Нет! Вы ни на секунду не допускайте мысли, что от этого она будет счастлива! Нет! Она просто полагает, что тем самым я освобожусь от мучений! Смешно, не правда ли?

А так и Нинка поэээти (эпчки!) ческая натура, насколько может быть таковой женщина, которая сварливым тоном спрашивает — почему Лев Толстой выдал Наташу за Пьера... Можно подумать, от этого бородатого старца что-либо зависело!..

Она худо-бедно одолела «Войну и мир» и теперь прицепилась к «Анне Карениной»! Возьмет роман, уляжется в постель, полистает, полистает, и через минуту из комнаты доносятся ахи да охи.

Как бы читателю не показалось, что я Льва Толстого не уважаю, и я не какая-то школьница, чтобы эта Анна или как ее там заставила меня слезы лить!

Фиф! Нет-с... Не в обиду Нинке (она тут ни при чем), но я аж дергаться начинаю, когда из соседней комнаты слышу ее жалкое мяуканье... И вообще, не могу разделить чувств героев литературы или там искусства, потому как чувствую — искусство во мне.

А так, об одном мечтаю: увидеть где-нибудь в темном уголку Сомерсет Моэма! Как выпрыгну да гримасу скорчу! Ого-го-го, ну и улепетнул бы он, да все крестясь, крестясь!.. Ненавижу любителей нравоучений. А Моэм этот мне прямо кровь портит своей печальной улыбкой и покачиванием

ГОЛОВЫ: Эх, сынок, ты, мол, молод еще, перемолется, жука будет, посмотрим, на какой манер тогда зачирикаешь.

Нет, оить-то я его не стал бы, отнюдь. Чего свиряет, свиряет в меня еще более философское (зрите, дескать, экстаз уроды, или что-то такое грамматико-историческое) и во-все сведет с ума. И потом... Потом... Ооо! События примут иной оборот.

Недавно, когда я прочитал его «Подводя итоги», настроенче у меня испортилось вконец...

Знаете ли, не понял, чему он, собственно, подводит итоги?!

Есть у него еще роман о каком-то «гении» — художнике...

Сказать по правде, слово «гений» столь отвратительно звучит, что, когда сплю, чудится, будто по этому слову жуки олзнут.

Вы прямо представить себе не можете, как ужасно угонченны мои чувства.

Хи, Хи! Небось полагаете, я опять оригинальничаю, а?! Кошмар! Какой кошмар: жуки копошатся в слове...

Нечто подобное случилось со мной, когда я читал стихи одной поэтессы, нашей современницы (сейчас уж не скажу, как называлось стихотворение), так вот... сплю и... представьте, вижу — эти самые ужасные жуки по строчкам стихотворения так и ползают, так и ползают...

Я взвыл благим матом и проснулся.

Ничка в одной рубашке ворвалась в комнату.

«Что с тобой?!» — спрашивает.

— Ничего, приснилось, будто Анна Каренина под колеса поезда бросается, — отвечаю, а сам обливаюсь потом.

## 5

Единственный человек на работе, с которым я нашел общий язык, — Гиви. Не могу сказать, что он умный и чувствительный на редкость, однако... кх... кх... гм... гм! Благородства у него поистине не отнимешь... Как ни придет к нам в гости непременно Нинке букет цветов поднесет. Гиви преподает в школе историю, а я грузинский язык и литературу. Год назад я окончил пединститут. Можете себе представить, что было с директором, когда я с дипломом в руках заявился к нему в кабинет. Его чуть кондрашка не хватил.

Смотрел, смотрел на меня обалдело... «Пожалуйста», — выдавил наконец, через силу. Я, не долго думая, возьми и скок на стул и ногами заболтал. У него постепенно стала вытягиваться физиономия. «Что угодно?» — спрашивает холодным тоном. (Хотя, надо сказать, ему звонили из Министерства просвещения, сообщили, что получит преподавателя взамен некоего Тевдорадзе, который вышел на пенсию.)

Директор на диплом и не взглянул: заходите, говорит, завтра, у меня, говорит, дела сегодня. Я вышел. Учителя изумленно на меня смотрели.

«Это вам еще ягодки, — подумал я, — вот явлюсь в класс, тогда увидите».

На следующее утро директор встретил меня ласково. Сообщили, должно быть, что, несмотря на урооо... Опчки...

дство, человек я весьма эрудированный и образованный.

Он, директор, затеял со мной беседу о нынешнем политическом положении, пожелал узнать альфу и омегу генеалогии, то да се, одним словом, старался замять свой вчерашний бестактный поступок. Я (никуда не денешься) согласно кивал головой.

Явившись в класс, я прямо заявил:

— Прошу вас, дети, не обращать внимания на мою великолепную внешность, она отвлечет ваше внимание и помешает усвоить урок.

(Каково в IX классе проводить урок с такой башкой, а?!).

Однако, представьте себе... Они вели себя смирно, не пытались сорвать урок... Ах, дети, дети... Тогда мной вновь овладело какое-то странное чувство... Тогда, когда я увидел, как странно они на меня смотрели... К подобным вещам я не привык совершенно, и вдруг такая лирика!

Я чувствовал, что они меня жалеют, однако же не так, как другие! Здесь было нечто большее! Ужасное и величественное!

## 6

Гиви с первого знакомства показался мне глуповатым типом... Чем-то вроде одного нашего писателя, который твердит без устали: не надо, мол, философствовать, дружнице, не надо — вох! Пиши о голубях — вох, любви — вох! Об этом прекрасном небе — вох! Или же своим гибким юмором читателя развесели, пусть лопается от смеха, подпрыгивает, как обезьяна, заставь его хлопать в ладоши и кататься по полу, хватаясь руками за живот...

Какая нужда в философствовании... Апчхи!

В самом деле не надо философствовать. Да, так, о чем это, бишь, я! Гиви, говорю, показался мне таким же типом. (Короче говоря — балбесом!) И вот почему. Я ему однажды говорю: религиозный мир, говорю, должен создать вместо Ииуса нового идола, у которого будет тело Христа, а лицо черта, а? Что скажешь?!

Он смотрел на меня некоторое время и засмеялся. Сперва мне показалось, он смеется над моей глупостью, банальной болтовней, а потом... не скажите—ему, оказывается, показалось, что я философствую!

Мы сидели в учительской за столом. Передо мной стоял графин, и у меня промелькнуло в мыслях взять его и разбить о свою голову. Кто меня заставляет болтать о таких вещах перед этими идиотами?! Однако мы все же нашли что-то общее... А так, надо полагать, на улице смотреть на нас двоих было довольно смешно: он — долговязый, тощий, с худым лицом, а я со своей огромной головой и маленькой фигурой.

Сперва я ревновал его к Нинке из-за цветов, потом привык и... к тому же... Нинке на него наплевать было (порой я видел, как ее раздражало его сентиментальное к ней отношение).

Неказистая личность была, ей-богу! Нет, я, конечно же, не имею права говорить о других, но все же...



Дружочек мой музыку любил. «Бах, — скажет бывало, / — ух!... Вот это да!..». О Бетховене же — «неа, — говорит — куда там»...

Честно говоря, я с музыкой не в ладах. Не знаю почему. Теперь расскажу вам об установившихся между нами «сложных интеллектуальных»... Хи! Хи! Хи!.. отношениях (такие отношения между двумя несчастливыми людьми имеют свою давнишнюю историю),

то есть — двух духовных миров.

Один — наслаждается музыкой.

Второй — природой.

И то и другое — один волшебный камень.

Они беседуют друг в друге.

О чем беседуют — сознанию неизвестно.

Душа чувствуете... тх!

Так вот, кореш, Эллидэ или Кимотэ, как вас там по имени, вы и не чувствуете, то есть в вашу голову не влазит, ни бельмеса не кумекаете, а раз товось..., не кумекаете, бросайте и эту марашку, писанину мою, кошке под хвост и хватайте «Маргритку Готье», так-то оно лучше будет...

Вы же, государь мой, слушайте меня.

Как по-вашему назвать нам эту беседу?! Абстрактной? Нет-с, не сможем-с. Почему? Потому что (на мой взгляд, никому не навязываю своих соображений) абстрактное мышление суть некая струя света, полученного в результате пересечения лучей разума и души... А здесь... Опля! Здесь разум приказал долго жить! Не верите?! Ну да, возможно, в начале беседы мы мыслили абстрактно... Потом же поднялись... возвысились... возвысились... (не беспокойся, старина, не свалимся), и исчез луч разума, осталась полоса света, вырвавшегося из души...

Полоса постепенно уплотнилась и превратилась в оголенный чувственный нерв.

Остались два голых нерва...

Исчезли люди... исчезло время... все исчезло...

Нервы извиваются, как змеи, и борются друг с другом...

Который из них победит? Тот, кто наслаждается мелодией музыки, или тот, кто опьянен величием природы?

Побеждает природа, ибо музыка дочь ее.

Природа — родитель всего! Мудрый старик!

В это время происходит своего рода интеллектуальный сдвиг... толчок, и ты чувствуешь, что твой собеседник уже покорился твоей великой душе.

И, почувствовав, должен замолчать, встать и уйти... А я поступил иначе. Я взглянул на растерянного Гиви, расхохотался и, возбужденный, дал ему щелчок по лбу — валяй, старик, говорю!

## 7

На этом я, пожалуй, остановлюсь, не стоит расписываться, и продолжу свое повествование с того места, когда Анд-ро наконец-то перестал лягаться и, бурча под нос, направился к своей писаной красавице.

Кровь струями лилась по моему лицу, губы были разбиты, я с трудом ворочал распухшим языком... А все равно смеялся и ругал его. Он шел, то и дело хмуро на меня глядясь.

— Эй, кем тебе эта жаба приходится? — крикнул я весело.

Он приостановился.

— Чего остановился, — снова заревел я, — отвечай старшим, когда спрашивают, свиное рыло!

Он сделал шаг по направлению ко мне, заскрежетал зубами и опять отвернулся.

Девушка, вся дрожа, бросилась к нему... провела рукой по его лицу. «Зверь, что он натворил», — сказала она в мой адрес, и они продолжили путь.

— Еще бы разок ударил! — захохотал я и решил было погнаться за ним, но обессилел и тут же упал как подкошенный.

Кое-как поднялся и поплелся домой. Достиг дверей и снова упал. Нинки, видно, не было, иначе она наверняка услышала бы грохот падающего тела. Я валялся на ступеньках лестницы одноэтажного дома, уставившись в небо широко раскрытыми глазами.

«Однако ж порой небо ничуть не меньше скалы улаживает душу человеческую», — подумал я, с головы до ног измаранный в крови, и провел дрожащей рукой по рассеченному лбу. Какое-то непривычное чувство внезапно вновь овладело мной... то самое, которое овладело в школе перед детьми... в горле словно что-то оборвалось... но... я пересилил себя и засмеялся!

Я долго валялся так на ступеньках лестницы одноэтажного дома. Наконец показалась Нинка со своей подругой. Только они меня увидели, вскрикнули обе и подбежали ко мне.

— Чего?! — зарычал я. — Чего рев подняли!

Сперва они не решились до меня дотронуться, еще бы — я буквально в крови плавал, а они были в новеньких платьях. Потом Нинка, видно, решила показать свою гуманность и с гордым лицом жертвующей собой бросилась ко мне (ох, какую только вы жертву порой не приносите, чтобы показать себя благородными!).

Новенькое белое в черный горошек платье тотчас и перепачкалось.

Меня на руках подтащили к кровати и положили на постель. Дорогой чуть не обронили дважды (можно подумать, я тяжелый или стараюсь выскользнуть).

Я сам стащил с себя брюки, ничуть не постеснявшись ее подруги. Она не считает меня мужчиной, ради чего же, скажите на милость, мне церемониться?!

— Ну-ка, теперь уб... оставьте меня, — я хотел сказать «убирайтесь», но почувствовал, что это было бы неблагодарно с моей стороны.

Нинка выбежала за йодом и бинтами.

— Обойдется без бинтов, — сказал я (мало приятного смотреть, как любимая сестра с отвращением перевязывает

тебе раны — как бы, мол, не дотронуться до его паршивой головы).

Пока она, склонившись надо мной с отвращением в глазах, возилась с бинтами, мной овладевала злость, и когда все кончилось, она, эта моя злость, достигла зенита...

— Нинка! — крикнул я в иступлении. — Какая ты хорошая, какая нежная девушка, Нинка! — одним движением руки я содрал с себя окровавленные бинты, встал на постель и замахал битами в воздухе. Моя сестра пораженная смотрела на меня.

— Какая ты добрая девушка, Нинка! — орал я и прыгал на постели как сумасшедший.

В комнату вбежала ее подружка.

Они стояли и тупо на меня смотрели.

— Нинка! — ревел я во весь голос. — Бинт, которым ты, словно кольцом, обвила меня, теснит мне грудь... Я должен разорвать его! Знаю, могу истечь кровью, но вынужден! Я люблю свободу, сударыни! Не нуждаюсь в ваших йодах и бинтах. Сперва вы меня избиваете, потом лечите, не правда ли? Будьте прокляты! Можете поступать так с каким-нибудь несовершеннолетним... Что до меня... Я и за побои благодарен. Бейте... Только потом не перевязывайте ран! А если перевяжете, не смотрите на меня больше...—(с отвращением, хотел я сказать, но бесхребетная надменность прикрыла мне рот ладоною).

Обессиленный, я упал на постель, некоторое время лежал, замерев в неподвижности, но тотчас догадался, что это не было неподвижностью человека, который наслаждается победой. Понял и собрался вскочить вновь, но силы окончательно меня покинули. Я зарылся лицом в подушку и заснул как убитый.

## 8

Наутро я проснулся с тем же настроением. Было добрых десять часов... «Не стоит идти в школу», — подумал я и вдруг почувствовал, что ужасно хочу видеть детей...

Только я вошел в класс, воцарилось гробовое молчание...

Ученики смотрели на меня с нескрываемым изумлением (верно, им казалось, что я подвыпил).

— Ребята, — обратился я к ним и почувствовал, как дрожь пробрала все тело. — хорошие мои дети... — (я чувствовал глупость затеянной беседы, но мне нужен был слушатель, господа! Я до умопомрачения хотел, чтобы кто-то меня слушал!).

— Ребята, — голос от волнения сорвался, — я никогда не говорил того, что должен сказать вам сегодня... поступаю неправильно, знаю, некоторых мои слова не заинтересуют... Но думаю, это должно быть интереснее произведения иного хрестоматийного писателя. Скажем, которого мы с вами должны были разбирать сегодня... Ребята, взгляните на эту стеклянную вазу... — я взял со стола продолговатую вазу, поднял ее и потряс в воздухе, хотя в тот же миг понял, что совершенно не хотел беседовать об этом предмете; я дол-



жен был сказать что-то другое, даже покраснел от стыда. При чем тут несчастная ваза. Но я успокоил себя тем, что начну разговор с вазы и перейду на вещи более значительные и глубокие... Я хотел расшевелить эти маленькие, младенческие души, коснуться струн, натянутых в них, и заставить их зазвучать... Я никогда не поступил бы с ними, как с Гиви, которого щелкнул по лбу.

Но не знаю, какая незримая сила заставила меня в тот день проглотить язык и стоять до конца урока перед непопеченными агнцами точно скульптура, с вазой над головой.

## 9

Я убитый поплелся домой. Дорогой вновь, как обычно, встретились дружки Андро (его самого не было), но никто не сказал ни слова. Взглянули, правда, как-то странно; наверное, решили, что сегодня не стоит подначивать, такое у меня измученное было лицо. Я молча прошел между насупленными мордами, зашел в подворье церкви и присел на лавку.

Во дворе сидели нищие.

Убей бог, а не выношу этот народ.

Смотреть на священника и верующих еще куда ни шло, но вот на эти протянутые ко мне руки... тьфу!

Иные болваны принимают эти грязные ладони за копилку и бросают в них пятаки и гривенники. Иные «свя а а тыя» порой и рублем жертвуют.

Хи! Благородное человечество, не думаешь ли ты испугать этим грехи свои?

Давайте; давайте, господа благородные, бросайте в плевательницы червонцы... а я... а меня... бейте, выбивайте зубы, вываливайте в пыли и грязи и пинайте ногами.

Бейте, господа! Я перенесу!

Так и таким образом размышляя, я, оказывается, размахивал руками и кому-то грозился кулаком.

Кто-то дотронулся до моего плеча...

Я вскочил как ужаленный.

Улыбающийся священник стоял передо мной.

— Ах, это вы пожаловали! — оказал я ему «великую честь» (и сам удивился тому, как осмелился обратиться к степенному человеку столь шутовским тоном).

Он на меня посмотрел, как его сын, и я твердо решил — не дрогну!

Я был настолько возбужден, что было совершенно наплевать, расскажет он или нет про нашу встречу своему отроку. Вас, наверное, удивит такое несоответствие чувств. Если ты мазохист, скажете вы, и побой доставляют тебе удовольствие, какого черта боишься, сукин сын. Да, представьте себе, я укуса боюсь меньше, чем лая. Только гавкнет собака, я ноги в руки. История с Андро тому подтверждение, вначале я припустил со всех ног, потом, когда мне подавали, укрепился и с каждым ударом становился все тверже.

«Что, святой отец, — спросил я своим неожиданно насмешливым тоном пораженного священника, — не нравятся моя окровавленная рожа, а?»

Он смотрел на меня, смотрел... потом как-то с отчаянием мотнул головой, поправил на груди крест и отошел.

Я некоторое время стоял не шелохнувшись, взгляд священника почему-то страшно на меня подействовал.

Я погнался за ним... Остервенело схватился за подол рясы и повернул священника лицом к себе.

— Что! — взревел я и поднес лицо к его лицу с выпученными от удивления глазами. — Что?! Не нравлюсь я тебе, отче?! А я думал, хоть ты не побрегаешь погладить меня по голове!

Он смотрел на меня с видом святого, и это еще больше меня бесило. В его глазах я, надо полагать, был чертом. Хотя сам он, думается, не верил ни в бога, ни в черта.

— Ступай домой!

Хох! Каким простым и милостивым тоном он это бросил. Великая, великая гуманность и философия с его стороны.

— Нет, отец! — я вдруг прикинулся жалким. — Моей сестры нет дома, а я голоден... пойду к тебе, если позволишь.

Священник вздрогнул от удивления, сощурил глаза и неожиданно процедил:

— Пошли...

(Пошли! — Вахахахаха... пошли... Вохохохохо...) Ярость овладела мной... Но я сдержался, почувствовал, что беседа с ним доставляет мне огромное удовольствие.

— Не обижайся, дядя Тода, — с пристыженным видом, сказал я, — что-то со мной происходит в последнее время. Прямо не знаю...

Священник принужденно улыбнулся, протянул руку, кажется, хотел погладить меня по голове, но не рискнул, хлопал по плечу. По лицу его было видно, что он готов сбежать (верно, думал, что я свихнулся).

— Руки прочь! — закричал я и с быстротой молнии отпрыгнул назад.

Он, представьте себе, перекрестился!

Перекрестился? Так-с. Я не вытерпел, набросился на него, сорвал с шеи крест и бросил к его ногам.

— Подними, — дрожащим голосом сказал священник.

Я захохотал.

— Подними!

Ответ последовал прежний.

— Подними, не то прокляну!

Теперь-то я нагнулся, поднял крест и только собирался, как задумал, выбросить его подальше... до слуха донеслось какое-то мычание...

Ко мне шел разъяренный Андро... (видно, он из окна наблюдал за происходящим). На сей раз я позволил себе улетнуть... С крестом в руке!..

Хочоха, я бежал по улице.

Разукрашенный золотом серебряный крест ослепительно блестел на солнце. Прохожие останавливались и провожали меня изумленными взглядами.



— Благословенны будьте! Благословенны! Благословенны! — орал я что есть мочи и бежал. Андро преследовал меня по пятам. По дороге я налетел на женщину с ребенком. Оба растянулись на земле... Ну и завопил младенец! Я все равно не остановился! Меня преследуют, господа! Меня преследуют! Вот я сбил с ног какого-то старика... Ба... Ба... Ба! В жизни не слышал таких отменных проклятий!

— Чур меня.. Чур меня! — весело крикнул я старику в ответ на его проклятия и помахал крестом. — Господь бог меня защитит!

На какую-то секунду я остановился перевести дух, а этот недоносек тут как тут!

Ложное движение, одно... второе... и... Оляля, я снова свободен! Свобода, господа! Да здравствует свобода!! Благослови господь мою свободу! Амины!

Но вот, кажется, ко мне приближаются снова! Не подведите, мои кривые, мои маленькие ноги! Вы привыкли к бегу! Будьте молодцами! Несите меня, умчите и оберегите! Эгей! С копытами и крестом бегу к вам, дамы и господа! Молитесь на меня! Я, новый идол, явился к вам! Но сперва спрячьте... не дайте попасть в руки поганых иудеев... Быстрес... Быстрее... Вот он опять схватил меня рукой за загривок... Однако... нет... как бы не так! Это всего лишь моя рубашка! Я же здесь... на месте... впереди тебя! Вахахаха! Вохохохо! Тупица! Поповский сын! Собачье отродье!.. Я — сын природы, трудно меня поймать! Оп! Оп! Осторожнее. Избиение плевательниц не принесет вам облегчения! Не ровен час, оштрафуют в придачу! Что случилось, девушка, почему ты провожаешь меня удивленными глазами? Ты думаешь, я бегу из трусости?! Ну что вы! Мы, извольте ли знать, бегуны! Тот человек мой друг. Мы просто поспорили, кто первый донесет крест до финиша. За вознаграждение, разумеется. Огромное вознаграждение. Не знаю, в чем именно оно выражается, но если этот человек меня нагонит, я получу вознаграждение иного рода. Это точно! Оп! Оп! Доннерветер! Гебен зи мир айн хелф... Битте... Ох, майне клайнен... Клайнен вер?! Нихт ферштеин?! Майне фусхен... Я! Я! Шнеллер! Шнеллер камераден! О, майн гот! Эр гехорт, майн руф унд штехт ви анн эзел! Энде! Оп!»

Весь в поту я оглянулся на остановившегося посреди дороги, запыхавшегося, понурого, как осел, Андро... Я погрозил ему кулаком и еще раз захохотал.

## 10

Я ждал до полуночи в углу темного тупика. Оставим все. В конце концов, холодно было, пока доплетешься до дому в рваной сорочке, не мудрено и продрогнуть. Я решил наведаться к Гиви, благо он жил поблизости. Я шел, думал, какое на него произведу впечатление полуголый и с крестом в руке, и смеялся, когда представлял его ошалелую физиономию.

Таковой она и оказалась. Так все и произошло, как я представлял: он открыл мне дверь, отпрыгнул как ужаленный



и тут же ее захлопнул. Я захихикал (впрочем до хихикания ли — замерзаю). Постучался (я несколько даже обиделся).

Он заставил меня торчать на холоде битых <sup>попугаев...</sup> Потом осторожно просунул сквозь приоткрытую дверь <sup>кончик</sup> носа, внимательно меня оглядел (верно, старался и никак не мог понять, рехнулся я или случилось что-то другое).

На этот беззвучный вопрос я ответил словесно (трехэтажным матом, заметьте).

Тогда-то он соизволил открыть двери.

Я ворвался в комнату и прыгнул прямо на его кровать...

— Приготовлю тебе кофе. — Гиви постарался скрыть неприятное ощущение человека, которого посреди ночи заставили распростиаться с теплой постелью.

— Никто не возражает, — сказал я и схватил лежащую у его подушки книгу рассказов... Сартр... кх... Огого! Тоже неплохой человек в сущности, но меня всю жизнь интересовало, любил ли он Наполеона? А когда я краем уха услышал, что убийцу Жан-Жака Руссо отпустили живым и невредимым, такая злость меня взяла, я прямо свихнулся от бешенства.

Должен признаться, я всегда мечтал, попадись он мне, думаю, где-нибудь связанным по рукам и ногам... Я бы такие орудия пытки изобрел... Дай бог здоровья! Невиданные орудия пыток, господа, неслыханные! Я вечно мечтал о пытке двух людей... кхм — сперва Гитлера, а после — убийцы Руссо. Не думаете ли вы, господа, что я бы их бил так, как вы меня? Хе!

Однако... Гитлеру, кажется, воздалось по заслугам. Жаль только, что подожгли мертвого, а не, так сказать, при жизни!

О, с каким наслаждением пошел бы я впереди связанных палачей к вороху хвороста посередине площади! (Да, но сперва подвергнул бы пытке, не забудем!) Потом... Кто это? Нерон, Калигула, Македонский, а вот и Шах-Аббас. Он оскорбил мой народ! А это Наполеон! Ну-с, господа, что вы нам скажете перед смертью?! Впрочем... Ничего... Я вам вырвал языки еще в камере... Щипцами... Пустое, можно знаками... Знаками дайте понять, жалуете ли о содеянном. Наполеон угрюмо молчит. То же — Александр Македонский. Гитлер смотрит на меня горящими глазами... Хе! Хе! Я бы повыкалывал тебе эти уголья, но хочу, чтобы ты видел аутодафе...

Ну а теперь подайте мне факелы!

Я — большеголовый урод — обвиняю вас в оскорблении прекрасного и святых человеческих чувств.

Факелы, Квазимодо!

Вот и он бежит... Мой старый приятель и товарищ по цеху! Мне бы его силу.

Нет, Квазимодо, нет... Я должен их поджечь! Я!

От вашего имени, господа! От имени детей, сожженных в концлагерях, и повешенных стариков!

От имени гладнаторов с проломленной грудью, соревнующихся в цирке!

От имени обесчещенных сестер и жен!



005320  
3023010333

От имени Жан-Жака Руссо!  
От имени свободы!  
Ага! Взметнулись первые языки пламени костра стального  
ного судилища!  
О, как затрепал и распрямил крылья обжигающий ураган!

Терзай, бессмертный красный орел, нагоченными когтями тела извергов!

Ага! Живьем горят палачи! Торжествуй, человечество!  
О, каким гордым ты кажешься, окутанный розовым рас-светным светом!

Теперь у тебя такой привлекательный вид, что я почти готов простить твои подзатыльники, все простить!

— Ты где это приобрел? — Гиви вошел в комнату с двумя чашками кофе.

— А... О, это в той битве за веру! — усмехнулся я, бросил на кровать крест, взял у него чашку горячего кофе и с быстротой молнии опорожнил ее.

— Репетэ. — я протянул Гиви чашку.

Он удивленно на меня взглянул, поднялся, вышел на кухню, завозился... Затем я услышал звук разбившейся посуды, потом невнятное бормотание, и под конец снова что-то лопнуло.

Счастливая же у меня нога, ай, ей-богу! Я всюду вношу революционный дух... Тарелки и те почувствовали, что в соседней комнате сидит сам бунт.

Гиви наконец-то вошел, но в отличие от первого своего появления к кровати не подходил. поставил чашку на стол посередине комнаты — извольте, мол, подойти, если желаете.

Ничего не попишешь! Поднялся! Подошел... Взял... Ба... Ба... Ба... Меня сразу пробрал холод! Я разогнался и скочил снова на кровать! Охоохо! Тьфу, черт побери, среди всех этих прыжков горячий кофе выплеснулся... мне на голову, заодно вымарав простыню.

Он обалдело на меня посмотрел.

— Пожалуйста, не сердись, — я скорчил гримасу и в знак великой просьбы уцепился за горло.

Он посмотрел на меня, посмотрел и покачал головой.

(Я давно заметил: на каждое мое действие люди отвечают покачиванием головы... Неужели они впрямь считают меня слабоумным, а, читатель? А что если во время покачивания головы она у них слетит с плеч?)

— Вот бы увидели сейчас тебя ученики, — вдруг засипел Гиви.

(Мудрец, одно слово! Что только не придет ему в голову!)

— Видели похуже... Я похуже выглядел! — спокойно ответил я. (Да, кофе, моего кофе нет, но его-то чашка здесь!)

— Будь здоров, Плутарх, — я поднял чашку и тем же манером ее опорожнил.

— Спать не собираешься? — спросил он — <sup>Завтра,</sup> кажется, твой урок первый.

Я вдруг вспомнил, что... Да, но и пропустить <sup>Утром</sup> нельзя... Директор сказал — ожидается комиссия Министерства просвещения.

— Который час? — спросил я призадумавшись.

— Начало третьего.

Я почесал в затылке.

— Да! — говорю ему вкрадчиво. — Не осталось ли у тебя какого-либо платья детских лет?

— Для чего тебе? — чувство изумления буквально не покидало его.

— Не явятся же мне на урок голым с крестом в руке?

Он посмотрел на меня, посмотрел и, представьте, засмеялся.

— Нет, — говорит, — князь, ваше сиятельство, не осталось у меня одежды детских лет.

— Неужто всю музей забрал? — «разволновался» я.

Он по-дурацки на меня смотрит и кривит рот в ухмылке. (Тухлого бы мне яйца сейчас).

— Не пойду и дело с концом, — заявил я, — выгнать-то не выгонят и...

— Почему же не выгонят? Еще как! Они только и ждут, к чему придраться, чтобы тебя коленом под зад... — он не докончил фразы.

У меня странно затрепыхалось и сжалось сердце, но я все равно не подал виду: попытался засмеяться... не вышло...

— Заснем? — спросил я надтреснутым голосом. (Ведь надо было что-нибудь сказать.)

— А утром? Что ты наденешь все же?

— Пойду домой и там...

— Я бы взял у соседа, да неловко...

— У тебя будильник есть?

— А... Нет... будильника нет...

Я задумался.

— Вот если бы ты мне принес из дому?

— А? Пожалуйста, — сказал он после некоторого колебания, — однако...

— Однако что?

Он пальцами показал: денег, мол, ни копыя.

(В самом деле, отсюда до моего дома километров девять, не ехать же ему в троллейбусе.)

— Тьфу, — «разозлился» я, — трешки у тебя нет?

«Нет», — отвечает без слов, как немой; отвечает стыдливо.

— Займи у соседа...

— Что-нибудь да придумаем, — сказал Гиви и повалился на тахту.

Попытайся заснуть...

Нуждался ли мой возбужденный мозг в двух чашках кофе... Эх, господи... впрочем, помолчу...

— Хи! Хи! Хи!... Я уже докладывал, что не являюсь столь примитивным существом и мещанином, чтобы ныть по пово-



ду своих болячек. Заявлю, чем вызвана боль, но  
когда не скажу болит — нет-с.

Эгей, мое уродство, дарованное всевышним!

Сейчас удивлю вас, господа: хочу, точнее — мечтаю,  
чтобы существовали черные цветы.

Сорвал бы два черных цветка и положил у своего изго-  
ловья...

Когда пожалует ночь, возьму два черных цветка и под-  
несу их к лицу.

Знаете ли, что это — два черных цветка?

Они — глаза ночи!

О, как голубо пламя, которое их объяло.

Я лежу в открытой могиле.

Темно.

Какие-то красновато-пестрые бабочки летают вокруг...

Но что это? Маленькая лягушка лазурного цвета подо-  
шла и вскарабкалась мне на грудь...

О, какими грустными глазами она смотрит на меня...

Хочу приласкать ее...

Беру... запираю в ладонях.

Она выскальзывает, словно мыло, и уродливо растопы-  
ренными лапками шлепает меня по лицу...

Ее прохладное, спокойно пульсирующее тело свежестью  
ложится на лоб...

С неба падают блестящие листья...

Хочу до бесконечности смотреть на необычайный листо-  
пад...

Лягушка мешает смотреть...

Я осторожно снимаю ее с лица...

Снял... Но листья успели до краев наполнить могилу...

Я размахиваю руками...

Хочу взглянуть на небо, но блестящие листья надоедливо  
трещат...

Они ломаются, листья...

Они обращаются в пыль...

Я дышу этой пылью вместо воздуха...

Мне трудно дышать...

Задыхаюсь...

Хриплю...

Голосом обреченного прошу помощи...

Кто-то протягивает руку...

Я хватаюсь за нее...

— Что с тобой? — встревоженным голосом спрашивает  
Гиви.

Я мигом прихожу в себя и все понимаю.

(Заснул, черт побери).

— Который час?

— Половина девятого...

— Ого! — я вскакиваю с постели, вскипаю весь. — О  
чем же ты думал?!



94935320  
3022010033

— Что мне делать, — Гиви пожал плечами, — сам только проснулся... От твоего крика...

(В самом деле, читатель, в чем, собственно, он виноват?)

«А может, читатель, у тебя случайно найдется свина белья и пиджак? Подбрось, будь другом... а?.. Почему молчишь? Жалеешь? Велика беда... верну через час... Смеешься? Нет, значит. Ладно, благодарности за мной...»

— Как же мне быть теперь?

— ...

— Что это ты только плечами пожимаешь? — у меня снова зашалили нервы.

— ...

— Покажи какую-нибудь из своих сорочек!

Он молча подошел к гардеробу, открыл, понопался, выбрал сорочку, осторожно протянул мне.

Я примерил ее.

Ему стало смешно.

— Чего скалишь зубы? — зарычал я.

— А что делать-то, — пробасил он, — со... ха-ха-ха-ха! У меня не оставалось времени смотреть, как он щерится... Я торопливо оделся.

Тьфу! Что ряааа... апчи!.. что ряса нашего священника, что Гивина сорочкка!

— Пиджак не надеваешь? — хихикает Плутарх.

— Давай, ну-ка, давай! — я прикинулся веселым, схватил со спинки стула пиджак, встряхнул, накинул на плечи... «Нет... пожалуй, лучше, надеть!».

— А я, — он только опомнился, — мне что надеть (у него был один пиджак)?

— А ну тебя, — весело крикнул я, бросился к дверям, распахнул и сбежал вниз по лестнице.

«Некрасиво, однако же, поступаю, — подумал я по дороге, — ну да к черту! Его урок, кажется, попозже, сообразит что-нибудь».

Я быстрыми шагами направился к остановке троллейбуса.

Сударыня! Если бы вы встретились со мной в тот день, вас наверняка изумил бы мой вид бывалого вояки. Железная каска — единственное, чего не доставало в моем снаряжении. Наверное, потому прохожие с удивлением на меня оглядывались. Им, видите ли, хотелось знать, куда я задевал шлем!

Вся эта история несколько меня опьяняла.

В троллейбусе была давка, ооднаако... Люди тотчас почувствовали, кто стоял перед ними! И прижимались они друг к другу, дабы случайно не коснуться святого моего праха... Хо! Хо! Порой и я чувствовал себя счастливым, друзья! Стоял, гордо выпрямившись. Так, должно быть, стоял Нерон среди своей челяди.

Железный «росинант» кое-как дотащился до школы.

— Я спокойно вошел в здание (звонок уже прозвенел), сделал книксен уборнице, потрепал по плечу сторожа, вытащил сигарету, заложенную за ухо преподавателя труда, зажег, за-

курил, вошел в учительскую, вышел (с журналом-с), погасил сигарету и — вприпрыжку к классу.

Члены комиссии уже сидели в классе. Уваж. директор также находился там (я заметил его из окна классной комнаты). У меня было мелькнула мысль повернуться и уйти восвояси; к черту, думаю, и школу, и службу, однако было уже поздно, уж пооздно, медам...

Господа! Представьте хмурые четырехугольные лица, которые при моем появлении вытянулись, как дыни. Право же, резиновые лица, господа!

Парта, за которой сидел директор, ужасно закрипела и, наверное, зааплодировала бы, если бы на ее ладонях не покоилось необъятное пузо.

Я как ни в чем не бывало сел за стол, засучил рукава, провел перекличку. Их... спросил у девочки с передней парты:

— На чем мы остановились на предыдущем уроке?

Она встала, с трудом сдерживая смех, и что-то промяукала.

— Выходи! — сказал я насколько возможно строго.

Она вышла из-за парты мелкими такими шажками.

Вдруг (Ого!) один из членов комиссии лениво вытянулся и... кх... демонстративно, походным шагом покинул класс...

Остальные члены словно только этого и ждали — «фьюить», вскочили и пустились следом за первым... Я почему-то подумал о сыновьях, которые бегут за нотариусом, покидающим комнату только что скончавшегося отца семейства.

Я и уваж. директор остались лицом к лицу.

Уваж. директора, видно, ничуть не интересовало, как я потом проведу урок...

Он долго смотрел на меня, выпучив глаза. Потом глубоко вдохнул воздух, с претвеликим трудом выпрямился, раскрыл рот и... «Гав» — так потрясаяще залаял, что я подпрыгнул чуть ли не до потолка.

Подпрыгнул, и запруженный в детских ротиках смех вырвался наружу, словно маленькие осколки льда посыпались на хрустальную люстру, свисающую с потолка классной комнаты. Люстра звенела, заливалась веселым смехом.

Я тоже засмеялся, и тогда дети прямо зашлись в смехе...

— Пожалуйста-ка вниз, — сдвинул директор брови, подошел к дверям, распахнул и стал ждать.

— Сейчас все вам объясню, — я поднялся несколько сконфуженный.

— Пожалуйста, пожалуйста, здесь вам, приятель, не цирк...

Детский смех постепенно приутих...

Я вспомнил слова Гиви: они, мол, только и думают, как тебя выгнать.

— Не пойду, — загремел я вдруг и сел на стул.

Снова поднялся шум и гам.

Хо, хо, хо, ну и сверлит он меня глазами.

— Паяц, — с отвращением процедил он после минутного молчания и захлопнул за собой дверь... Вернулся, словно что-то забыл, махнул рукой, дал понять, что я отныне свободен, и ушел.



— Дети, — громко сказал я, когда класс затих. Мои любимые дети! Сегодня я объясняю последний урок. У нас осталось несколько минут... Слушайте все... То, что я сейчас хочу вам сказать, далеко не христианское учение, которое призывает вас возлюбить ближнего, но не учит как возлюбить... Это и не слово уродца, одаренного способностью наслаждаться красотой природы и испытывающего злую радость, когда он сознает, что благодаря магической силе воздействия слова покори́л наивного слушателя...

Это не исповедь «возвзвившегося уродства»...

Я просто прошу вас об одном.

Прошу вас, святых, в слух коих звон золота еще не пролился каплей меда...

Чьи глаза еще не замутила зависть...

Кто еще не испытал безграничную радость и безграничную скорбь, которые навеки опустошают человека!

Вот я стою перед вами, безобразный маленький человек, в штанах до пят...

Сегодня, 13 октября 1949 года, несколько минут назад я потерял работу... Не знаю, право, найду ли ее снова...

Меня только что оскорбили, так как я ответил им в тон...

Меня избивают на улице праздные гуляки...

Родная сестра, которую я вырастил после смерти моих родителей, мечтает, чтобы меня притащили домой с проломленным черепом.

Дети! По сегодняшний день уродливые, но благородные люди не раз становились перед толпой, как судьи перед бандой разбойников, но под конец их растапывали и уничтожали!

Да и разве могут мясники и купчишки с ушами, заложеными окровавленной ватой, услышать голос правды!

Я обращаюсь к вам — святым!

Причина, из-за которой меня увольняют, смешна, правда! Смешно и выражение моего лица, и мой вид... решительно все!

И все же я ухожу праздничный и уверенный в себе!

В том-то и заключается моя просьба — не насмехайтесь над торжествующим уродом и... — (у меня от волнения сорвался голос) — когда я выйду отсюда... Не надо смеяться несколько минут... Представьте, покойника провожают на кладбище...

Как только я вышел из классной комнаты, раздался звонок.

Он словно был символическим, этот школьный звонок. Моя учительская деятельность заканчивалась, но что начиналось, хотел бы я знать?

И вновь мной овладело какое-то странное чувство.

В коридор с гвалтом высыпали дети.

Все смотрели на меня.

Я быстро спустился по ступенькам лестницы и выбежал на улицу.

Куда было пойти?

«Пойду к Гивии», — подумал я и пошел по улице.



Его не оказалось дома.

Я приподнял край небольшого коврика у дверей, обычно прятал здесь ключи. Они были на месте.

Я отпер дверь и вошел в комнату.

Кружилась голова...

Я ощущал во рту странный солоноватый привкус...

Совершенно измученный я прилег на тахту...

В боку закололо...

Колол крест!

— Что? — грустно спросил я. — Чего желаете?

— Ничего! — осклабился желтый крест. — Удивительный вы болван...

— Тоже мне, сообщил новость, — говорю я, надувая щеки и раскачивая головой, как маятником.

— Тебе даже невдомек, почему ты болван...

— Ну-ка скажи, скажи, — «заинтересовался» я.

— Нет нужды, — говорит он, — все равно не согласишься, а я не привык болтать впустую...

— Ох, что вы говорите, — «огорчился» я, — а ведь до сих пор я полагал, что вы изволите быть самым болтливым на свете и к тому же лживым.

— Хе... Хе... — сверкнул крест, — по-вашему, выходит, погиб... однако, — задумчиво произнес он вдруг, — однако, почему тогда тебя интересует мое мнение?

— Какое мнение?

— Минуту назад ты якобы исполненным шуточных интонаций тоном попросил меня объяснить, почему ты болван... А потом говоришь, что я болтун... Впрочем, нет, не стоит сейчас об этом спорить... До нас достаточно много говорили на эту тему... и до драк доходило, все равно не могут установить истину, хотя и твердят: в споре, мол, рождается истина.

— Цыц! Ни звука больше, — рассердился я, — а говоришь, спорить не стоит.

Я положил голову на подушку и...

Озеро под покрывалом красного льда...

На льду стоит кляча...

Она скользит, у нее подгибаются колени, она падает и поднимается снова.

Всходы белых водорослей пробилась сквозь лед...

Лошадь нагибает голову, она хочет пощипать траву, но снова поскользывается и разбивает себе зубы.

Там, где падают ледяные капли крови, вырастают черные цветы.

Я опускаюсь с неба.

Хочу собрать цветы, но стебли, словно шелковые нити, рванят мои пальцы...

Вся рука покрывается ранами...

Наконец мне удалось сорвать цветок, но трескается лед, и лошадь падает в расщелину...

Я хочу ей помочь...  
Хватаю за гриву...  
А лошадь тонет и тянет меня за собой...



●

Я на дне озера.  
Вода голуба и прозрачна...  
Лошадь превратилась в нагую девушку изумительной красоты...

У нее золотистые глаза...  
Ее грудь — два горячих мягких ядра мраморной белизны...

Охваченный дрожью, я сжимаю пальцами красные соски.  
Девушка корчится и блаженствует...  
У меня все тело затекло. Онемело.  
Мы запутались в белых лианах...  
Я обнимаю ее...  
Она выскальзывает...  
Плывет наверх...

Я хочу последовать за ней, но каменею и, задрвав голову, смотрю наверх. Она наверху...

Она опускается и маленькими, теплыми, голыми ступнями становится мне на лицо...

Я целую ее ступни...  
И замерзаю...  
Стою, словно мраморная скульптура на камне...  
И замерзаю...

●

Я открыл глаза...  
У кровати стоит Гиви и укрывает меня пледом...  
Я присел на постели...

Голова кружится по-прежнему...  
Он улыбнулся мне улыбкой человека, у которого испортилось настроение...

Я встал, подошел к окну, приоткрыл...  
Подул прохладный ветер...

●

— Что ты теперь собираешься делать? — спрашивает Гиви.

— ... — (это я пожимаю плечами).

— Мы все сегодня просили, но...

— ...

— Давай пройдемся, — он вдруг меняет тему разговора...

— Да. Пускай стемнеет немного, — говорю я машинально.



Гиви выходит в кухню.

— Твоя сестра, — слышу я приглушенный голос, — наверное, ужасно волнуется, второй день не приходишь домой? Я оставляю вопрос Гиви без ответа.

Из кухни доносится шипение сковороды, потом скрежет, видно, Гиви острием ножа размазывает масло по начищенному блестящему доньшку сковороды.

Меня пробирает дрожь, и я затыкаю уши пальцами.

Вскоре возвращается Гиви.

— Иди, — говорит он и ставит сковороду посередине стола. Над сковородой вьется пар.

Мы едим.

— Нет ли у тебя сигарет? — спрашиваю я, отерев платком губы.

— Да... Директор... — он колеблется.

— Что...

— Пускай, говорит, завтра же забирает документы, иначе выдам плохую характеристику.

Я пожимаю плечами...

— Не огорчайся, всякое бывает.

— ...

— Пройдемся?

— Нет, — вздыхаю я, — пойду лучше...

— Я тоже выйду.

— Нет, я пойду один.



Идет дождь...

Мокрые струны с синим отливом протянуты между небом и землей...

...И я, уродливый музыкант, размахивая руками и задрав голову, иду сквозь струны с синим отливом...

Я разрываю их, но они срачиваются вновь и вновь и звенят малиновым звоном.

Прозрачная завеса дождя обволакивает город.

Город — очаровательная маленькая монахиня, тонет в сумраке...

Со звоном падают ее слезы на мое лицо...

Город плачет.

...

— На кого ты похож, — говорит мне пораженная Нинка. Не говоря ни слова, я захожу в ванную, снимаю мокрую сорочку, выжимаю над ванной и возвращаюсь обратно.

— Где ты был?

— ...

— Да, — говорит она вдруг изменившимся, холодным тоном, — я видела дядю Тода... Ты что, вконец рехнулся?..

— Чего ты хотел от этого невинного человека?  
Я чувствую неожиданно, что слово «невинный» действует на мои нервы, как скрежет ножа, которым Гиви во-  
дил по дну сковороды.

— Я и Андро видела.

— Он взбешен... Из уважения к тебе, говорит, я его не трону; если он крест на самом деле выбросил, тогда иначе с ним поговорю.

— Куда девал крест?

— Тебя спрашивают?

— Выбросил! — раздраженно отвечаю я.

— Как то есть выбросил? — она разъярилась не на шутку. — По твоей милости мне уже и с соседями не общаться?

— С соседями! — с гримасой отвращения произнес я.

— Чего гримасничаешь? — говорит она, и я вижу, вот-вот заплачет. — Куда дел крест?!

— Оставил у Гиви, успокойся.

— Я принесу, — говорит она и начинает одеваться.

— Подожди, пускай распогодится... Идти на улицу в эдакий ливень?..

Она, хмурясь, снимает с вешалки плащ...

— Я сам завтра принесу...

— Принеси сейчас же! — злым голосом требует она.

— Сейчас не могу, — говорю я, и мной вновь овладевает странное чувство...

Она выходит.

Я подхожу к зеркалу.

— Бедненький, — щепчу я собственному отражению, — чего они от тебя хотят?

Я вдруг чувствую, что моему двойнику сентиментальный тон не нравится...

Я простился с ним, лег в постель и задремал.

●  
Хрустальное дерево...

В дупле сидит маленькая белая белка и торопливо шевелит губами...

Я подошел...

Протянул белке золотой орех...

Взяла, поблагодарила человеческим голосом и принялась есть.

Вдруг ей стало дурно...

Она ужасно завопила...

— Я хочу ей помочь, беру на руки, не знаю, что делать, начинаю бесцельно метаться.

Белка бьется в предсмертных судорогах.



●

Я проснулся.

Беличий вопль по-прежнему звучит в ушах...

В комнату заходит Нинка.

Она держит в руках крест и смеясь говорит:

— Твой дружок немножко чокнутый.

— Почему?

— Проводил меня до дому... с зонтиком в руках...

— ...

— Я просила его зайти, ни в какую...

— Все же почему он чокнутый?

Нинка заливается смехом.

— Видел бы, с каким видом он меня провожал, дай, говорю, зонтик, а он надулся, нет, отвечает и идет.

— ...

— Вскипятить тебе чай?

Я пожимаю плечами.

Нинка снимает мокрую одежду и надевает халат.

— У меня, кажется, жар, — говорит она, — дай руку.

Юб у нее горит.

— Ложись, — говорю.

— Сейчас, только чай вскипячу.

— Ложись, я сам.

Нинка ложится, лицо ее покраснелось.

— Принеси аптечку.

Я принес аптечку, вышел на кухню, наполнил чайник водой, поставил его на газовую плиту и замер...

— 37 и 8, — доносится из соседней комнаты.

— Позову тетю Елену.

(Тетя Елена живет рядом. Она врач.)

Я вхожу в комнату, испарина покрыла Нинкино лицо...

— Нет, — говорит Нинка, — мне сейчас не до Елениных сплетен.

До слуха доносится шипение чайника. Видно, вода уже вскипела.

— Говорил тебе, не ходи в такой ливень, — я собрался выйти на кухню.

— Не в этом дело. У меня с утра была небольшая температура.

Я разозлился, повернулся к Нинке:

— Почему не сказала?

Она молчит.

Я налил чаю и подошел к ней.

— Не могу... засну лучше...

●

К утру температура у Нинки поднялась до сорока. Она металась в бреду.

Маленькое лицо, утонувшее в розовом с синими цветами шелковом одеяле... Лицо ангела.

Она смотрит на меня грустными глазами и жалобно просит:





— Позови Елену.

Я выхожу и возвращаюсь с Еленой. Она осматривает ее, потом садится за стол и пишет рецепт...

Я провожаю Елену.

— Возможно, нам придется уложить ее в больницу, — говорит она шепотом.

— Что-нибудь серьезное?

— А?.. Нет... Ничего особенного... Воспаление легких, может быть... Но она очень слабая девочка... Нуждается в каждодневном присмотре... Я бы за ней поухаживала, но сам знаешь, работа...

— Уложу у себя, — задумчиво говорит Елена. — да, сейчас же иди за лекарством...

— А когда мы ее уложим?

— Сегодня и завтра не удастся, наверное... Сообщу вечером.

Она уходит.

— Я вся промокла, — говорит Нинка и слабой худой пучкой проводит по лбу и шее...

Я с тревогой смотрю на нее.

(Как мне сейчас хочется ее приласкать!)

— Скоро приду, — говорю я тихо, беру рецепт и иду к дверям.



Снова льет дождь.

Грязная, размытая каменистая дорога похожа на поле, усеянное серыми слизняками... У меня скользят ноги, с трудом удерживаюсь, чтобы не покатиться вниз...

Вот и аптека с синими запотевшими стеклами окон и расшатанными перилами балкона.

Я быстро избегаю по каменным ступенькам лестницы.

Полная женщина в белом халате вопросительно смотрит на меня.

Я молча протягиваю ей глянцевую бумагу.

Она взяла. Пробежала взглядом. Снова взглянула на меня. Возвратила.

— ...

— К сожалению, у нас нет части компонентов этого лекарства.

— ...

— Хотя, — она спокойно взяла у меня рецепт, — по-времените... Лия!

Рядом в комнате у полки с лекарствами стояла девушка невысокого роста.

— Ну-ка посмотри, остался ли у нас бром?

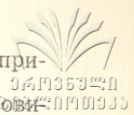
— Откуда?

— Да... нет... нет...

— Как же мне быть?

Она пожимает плечами, и я пожимаю плечами в ответ.

— Спросите в другой аптеке.



Я иду в другую аптеку. Там обеденный перерыв, пришлось ждать целый час, пока открыли.

— Вечером будет готово, — говорит женщина-провизор, как две капли воды похожая на первую и сложением, и видом.

- Я очень спешу! Нельзя ли...
- Что такое... Менингеальные явления?
- Нет! Нет! Воспаление легких.
- Ну хорошо... зайдите через два часа.
- А...
- Раньше не можем.
- Подожду, если позволите...
- Как вам угодно...

Я сажусь на стул, и мной вновь овладевает какое-то странное чувство. Я хочу отвязаться от него, но оно уже подступило к горлу комом слез (не правда ли, как банально звучит это «комом слез», господа). Ничего не поделаешь, когда человека душит злора, ему наплевать, что «чуткие» пальцы читателя раздражают его шершавый, связанный из красных пупырчатых жил мешочек, в котором запряталось море мучений, сжатое в маленький, трепещущий ком, и достаточно ему чуть напрячься, чтобы страшной лавиной вырваться наружу и смести все и вся на своем пути...

Черт побери! Сейчас мне действительно невероятно трудно.

- Подбородок дрожит...
- Бьет озноб...
- Глаза выкатываются из орбит...
- Все тело болит...

Я бессмысленно смотрю на огромные часы на стене.

— Тик-так...

Вдруг перед мысленным взором вновь возникают цветы, рассыпанные по золотистому песку...

Откуда-то подул ветер.

Песок взметнулся вверх и рассыпался в воздухе, превратился к прозрачную, блестящую фату, и сквозь эту нежную золотистую завесу блеснули на меня Нинкины синие глаза. «Мне плохо, — беззвучно говорит Нинка и плачет, — мне очень плохо».

— Сейчас, родная, сейчас, — шепчу я и чувствую, что вот-вот и у меня потекут слезы, — сейчас...

Тикание часов нарушает тишину...

Как медленно тянется время...

Я смотрю из окна...

Обкраденные деревья, вытянув в небо руки, просят милости у господа...

О какой милости они просят, хотелось бы знать?

Уж не о крыльях ли, чтобы покинуть грязные шумные улицы и улететь подальше, переселиться в изумрудный рай, откуда судьба безжалостно вырвала их и воткнула сюда, как некие вентиляторы для очистки воздуха?

О чем они просят? Бог весть!



НАЦИОНАЛЬНАЯ  
БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Наконец лекарство готово...  
Я направляюсь к дверям...  
— Деньги! — доносится до меня насмешливый голос. —  
Вы забыли заплатить деньги, молодой человек.  
Возвращаюсь и протягиваю скомканную рублевку.  
...  
Я медленно иду вверх по подъему...  
Солнце заходит...  
Холодно...  
Я поднял воротник пальто, но и это не помогло.  
Кружится голова.  
Руки трясутся...  
Нет и нет, никак я не смог отвязаться от того странного  
чувства.  
Чувствую, вот-вот вырвется наружу все, что накопилось  
в душе.  
У меня пересохло в горле...  
Неожиданно...  
Что это?  
Я остановился как громом пораженный!  
На дороге слышится гогот пьяных...  
Я осторожно озираюсь вокруг...  
Сердце странно сжалось и учащенно забилося.  
Андро со своими друзьями!  
Обессиленный, я повернул обратно и спрятался за дере-  
вом...  
Жду, пока они пройдут...  
Они, видно, никуда пока идти не собираются...  
Как быть? Побежать, разорвать эту толпу и... Прямо к  
дому или?.. Или как?  
А если схватят?  
Изобьют!  
Черт с ним... А если разобьется бутылка с лекарством?  
Я и не почувствовал, как сполз по стволу, сел прямо в  
грязь, положил бутылку с лекарством перед собой и оцепене-  
ло на них уставился.  
«Мне плохо, — послышалось вдруг, — очень плохо».  
Голос прозвенел точно серебряный колокольчик.  
Я задрал голову и посмотрел на небо.  
Облака в свете заходящего солнца словно кусты роз рас-  
сыпались по медному небу.  
К глазам подступили слезы. Я поднял бутылку,  
прижал ее к груди и долго беззвучно плакал, потом вдруг за-  
плакал навзрыд, поднялся и нетвердой походкой пошел по  
подъему. Чувство безразличия ко всему на свете владело мной.  
Вот они, пьяные лица, искаженные в издевательской улыбке.  
Гогот неожиданно смолк, и все уставились на меня.  
Я поднимаю бутылку высоко над головой.  
— Нинка, — говорю я хриплым, надтреснутым голо-  
сом и вежливаю. — Пропустите, ребята... Бутылка разо-  
бьется... Нинке плохо... Очень плохо... Пропустите меня, про-  
шу вас!



●

Не буду вам докучать зряшней болтовней...

Опусти несколько страниц моей истории... А так, если интересует, могу коротко сообщить, как развивались события дальше, хотя умный читатель и без того догадается, какой оборот они приняли.

Андро, естественно, кое-до чего «допер», «ссмягчил-ся», мой последний поступок пробудил в его душе бла... бла... хорошие импульсы, иии мы по... по... по... дружились!

(Читатель, наверное, думает, что я перебарщиваю, когда сбиваюсь на столь пренебрежительный тон. Однако виной тому нервы, напряжение и т. п., дорогуши мои. Да-с.)

Теперь давайте заглянем в комнату, где сижу я с Андро. Господи боже, какая напасть на мою голову, как ни старался, нигде щелочки не обнаружил, чтобы заглянуть в эту проклятую комнату, увидеть себя со стороны, а дверь закрыта — искуснейшему вору не проникнуть...

Пропади оно все пропадом... Расскажу, не подсматривая.

Перелом в наших отношениях начался с того, что наутро Андро самолично к нам пожаловал, посидел с больной, потом вывел меня в соседнюю комнату и пообещал хоть голову под топор положить, а помочь нам.

После этого Андро стал у нас частым гостем...

Читателю, должно быть, интересно узнать о дальнейшем ходе событий... Рассказываю.

Подружились, значит, тиран и его жертва... Каким бы мягким и благородным ни стал тиран по отношению к своей жертве, как бы ни старался исправить допущенную ошибку, все равно жертва-мученик испытывает великую боль, так как его болезненное самолюбие раздражает теплое отеческое отношение не меньше самих пыток. К тому же в присутствии кого-то третьего его нервы крайне напряжены. (Кто-то третий, извольте знать, это Нинка.)

Видели бы вы мои страдания, господа!..

Спросит этот сукин сын у меня о чем-то, спросит с улыбкой, ласково, и я начинаю суетиться, кривляюсь, виляю хвостом как щенок, повизгиваю, подпрыгиваю, становлюсь передними лапами ему на грудь и при этом все, заметьте, боюсь испачкать его новехонький костюм. Порой я на него обижался. Тогда он, как говорится, подбрасывал мне кость, поглаживал по голове, трепал по загривку, я успокаивался и снова покорно смотрел ему в глаза.

Да, не могу умолчать... Гиви ревновал. Смех один...

А почему?

Ему казалось, что Андро приходит к Нинке. Не утаю, отношения его и Нинки мне тоже не очень нравились, слишком уж часто они сидели наедине и о чем-то сладко щебетали. Хотя, надо сказать, мне было не до Гиви и не до Нинки. Я был увлечен новой своей дружбой, и все мои мысли были о ней...

Столько, наверное, мужчина не думает о любимой женщине, сколько я о дружбе с Андро.

Бедняга Гиви!

Придет, бывало, сядет на стул и смотрит на нас. Сцены были! Одна другой интересней! Одна другой краше!

В театрах на таких представлениях народу не бывало бы...

Так вот-с, дамы и господа, отныне наш дом меня радовал и раздражал; нет, раздражал не то слово, сводил с ума...

Андро, которому присутствие Гиви не доставляло особого удовольствия, без конца язвил, однако... шиша с два! Гиви ни на минутку не покидал неразлучную тройку. Одним словом, все мы, кроме Андро, сидели в котле с кипящей смолой...

Да-с, в котле с кипящей смолой варились... но смеялись и лизали руки человеку, который подбавлял под этот котел хвосту.

Вы, наверное, спросите — при чем тут Нинка, она-то почему, собственно, варилась в котле?

А потому, что при взгляде Андро и она вроде меня краснела и покрывалась испариной...



Под конец... Гиви решил поднять голос на существующий правопорядок...

Меня в тот момент не было дома. Когда я вернулся, Нинка плакала, уткнувшись лицом в подушку...

— Что случилось? — спрашиваю.

Она ничего не ответила...

Я молча вышел на кухню, снял со стены топорик для рубки мяса и подошел к дверям.

Нинка приподнялась на тахте и говорит:

— Выхожу замуж.

Я одеревенел...

— За кого? — выдавил кто-то чужим голосом.

— Андро!

Она была возбуждена, глаза странно блестели.

Я подошел к ней остолбеневший, присел рядом.

— Что это? — я показал пальцем на разломанную мебель и развороченные постели.

Она снова заплакала в голос.

— Подрались! — выдавила сквозь слезы.

— Дальше?

Она, вся дрожа, прислонилась к моей груди.

— Дальше?

— Бедняга Гиви!

Только и всего. Через две недели они поженились.

Очень хотелось присутствовать при бракосочетании, но я заметил по Андро и Нинке, что это не доставило бы им особого удовольствия, и в тот день я вообще не показывался.

(Да, запомните — все это время я был как во сне, никак не мог представить Нинку и Андро мужем и женой. Конечно, нетрудно было представить Нинку соблазненной и брошенной Андро, но никак не его женой... Вещь в самом



деле потрясающая... Однако я, тем не менее, рассудка не лишился и в день их бракосочетания зашел к Гиви.)

Господи боже, ну и вид, верно, с тех пор, как он две недели назад избитый вернулся домой, одежды ни разу не сменил. Под глазами у него были синяки, голова повязана, на разбитой скуле чернело пятно йода.

— Как поживаешь? — спрашиваю.

Он промолчал, пересел со стула на табуретку.

— Ты чего нос повесил? — я попытался растормошить его.

Снова молчание.

Потом он посмотрел на меня снизу вверх, как побитая собака, принужденно улыбнулся, приложил указательный палец к лицу и прохрипел:

— Видишь, что он со мной сделал.

— Подумаешь, чудак, — сказал я как ни в чем не бывало. — из-за чего вы все-таки подрались?

Он зло на меня посмотрел, махнул рукой и что-то пробормotal.

— Говори, что ли, — можно подумать, я не знал причину драки.

— На редкость ты, однако, без самолюбия, — неожиданно злобно бросил он.

Я усмехнулся.

— Чего смеешься, ты...

— Ну доканчивай же.

Он поднялся, с отвращением оглядел меня и снова присел на табуретку.

— А, да, правда, не сходить ли нам на свадьбу? — я не собирался этого говорить, но его исполненный отвращения взгляд страшно на меня подействовал.

Он хмуро на меня посмотрел.

Я подошел к столу, вытянул из пачки сигарету, сунул в рот, прикурил, затянулся и с шумом выпустил дым.

— А?! — какое-то садистское чувство овладело мной, хотя, впрочем, ничего удивительного для человека в моем положении. — Что скажешь, не пойти ли нам на свадьбу?!

— Чью свадьбу? — хрипло спросил Гиви.

— Моей сестренки и Андрo.

Он смотрел на меня разинув рот.

— Что случилось? — спрашиваю и сажусь перед ним на корточки.

Молчание.

— Чего ты на меня уставился? А ты думал, Нинка по-таскуха, что ли?! Они любили друг друга, понял? Любили.

И опять ни слова.

— Что с тобой? — я не на шутку испугался — лицо Гиви стало белым и худым, как у покойника.

— Что с тобой?! — я перешел на крик.

А он сидит и дрожит как в лихорадке.

Вдруг он вскочил, схватил меня за воротник рубахи и встряхнул изо всех сил... Я хотел высвободиться, но он так за меня ухватился, даже двинуться никакой возможности не



было... Он оскалил зубы и скрежещет... хрипит... задыхается...  
— Что с тобой? — шепчу я, перепуганный насмерть.  
Он отпускает меня и говорит:  
— Уходи.

04105020  
202001033

Через два дня я узнал, что Гиви покончил с собой. Пуля, вырвавшаяся из ружья, поставила точку на его короткой жизни.

Жизнь самоубийц чем-то напоминает мне стихотворные строки.

Теперь я вас посмешу, дамы и господа!

Приятель мой, выяснилось, перед смертью написал письмо и, видимо, в порыве крайнего возбуждения бросил на ту же постель, на которой застрелился. Судебной экспертизе удалось вычитать только одно слово: «дорогая...» — все остальное стерла кровь.

Когда я об этом узнал, мое больное воображение тотчас же представило, как служители правосудия комкают непригодную бумагу и швыряют ее в окно...

В тот день, должно быть, было ветрено...

Письмо судорожно планировало в воздухе. Еще одна судорога безысходности, и перемешаются окровавленные звуки с желтыми листьями, засверкают непривычно; дождь светлячков упадет на землю, и лазурное сияние лучей исходящего от него света поднимется над высохшим телом моего друга, который, сжавшись в комок и одеревенев, лежал, словно ледовая скульптура в какой-то грязной, черной прозектуре города.

...

По сих же летях (как обыкновенно говорится в летописях) Андро поселился у нас.

В квартире его отца было довольно тесно из-за трех живущих там невесток, и Андро предпочел нашу келью.

Хотя почему, собственно, келью? Как-никак, трехкомнатная квартира, к тому же у им не мешал, отвели угол на кухне. Должно быть, и оттуда выгнали бы, но гуманность, милостивые государи, человечность-с!

В последнее время зятек вспомнил старые штучки: возвратившись ночью домой пьяным, непременно навецал меня на кухню. Я нашел философское толкование такой его чуткости: он изволил быть сыном веры... «Святым»! Я же — чертом. Так что он пекся о моей душе и старался изгнать нечистый дух из оболочки черта.

Однако душу мою, господа, не так-то легко было изгнать из ее обители. Она, господа, не походила на меня, который безропотно вылетел на кухню и был готов по первому слову перекочевать на чердак.

Она, душа, упрямо цеплялась за плоть и, притаившись в окопе из расслабленных мышц, разрисованных красными и синими жилками, не желала сделать ни шагу ни вперед, ни назад.

Ах да! Чуть было не позабыл. Нинка была на седьмом месяце беременности.

Порой, услышав стук в кухню, она выходила и на

коленях умоляла моего палача отстать от меня («Ведь он мой брат!»).

Тогда Андро скрезетал зубами (именно з, а не ж!) и на-  
траждал ее моей долей подзатыльников.

А раз избил ее так, что у Нинки был выкидыш... Видели бы, каким он стал шелковым, Андриюшенька.

Однако... Мое мученическое спокойствие, пока я ухаживал за Нинкой в больнице, постепенно перерастало в остреве-не-ние, и однажды утром, когда я с продуктами пришел в больницу, а фельдшерница с обеспокоенным лицом отвела меня в сторону и увавшим голосом сообщила, что вчера у Нинки снова было кровотечение и она скончалась. — перед фельдшерницей уже стоял сумасшедший, который, прижав к груди сумку с продуктами, хохотал леденящим душу хохотом.

Только я похоронил одного покойника, тотчас же принялся думать о другом, потому как Андро для меня был ничем кроме как ходячим трупом...

Теперь надо было, чтобы все увидели и убедились — трупу место в земле!

В револьвере, который должен был еще раз всех оповестить об этой старой истине, лежало девять новехоньких, отливающих синеватым блеском пуль!

На трех было выцарапано — Нинка!

На трех — Гиви!

Остальные помечены крестиками.

Но Андро на улице не показывался...

Поэтому я решил сам его навестить.

Господа! Я слышал краем уха, что справедливая месть делает человека счастливым. Не знаю, насколько правильно я передаю эту невзначай услышанную фразу, но во всяком случае я по сей день чувствую себя счастливым вполне, когда с оружием наготове стою перед дверями дома моего врага. Я весь дрожу и не осмеливаюсь постучаться — что если его отец или кто другой откроет двери?! Поднимут крик, виновный выпрыгнет из окна и спасется бегством.

Однако нет! Это невозможно!

Поверьте мне, уважаемые скептики, двери откроет именно Андро и никто другой!

И как только он их откроет, решено, я всажу ему первую пулю в живот, а когда он упадет и будет корчиться в судорогах, я его изрещу!

О, какая темная ночь!

Так зальем светом эшафот.

Факелы, Квазимодо!

Литературный дебют Мераба Абашидзе состоялся в 1975 году в молодежном журнале «Цискари». Первую публикацию молодого автора завершало традиционное послесловие «В добрый путь!». Приводим его в сокращении.

Призыв «Факелы, Квазимодо!» останется, скорее всего, безответным. Квазимодо — самый известный предтеча злополучного героя Мераба Абашидзе — не принесет свои факелы туда, где ждут его. Импульс злопамятства чужд его природе.

Овладев мастерством пиротехника, он не будет услаждать свой слух шипением горящего на костре мяса палачей, не будет растрачивать своего мастерства на аутодафе — он устроит самый прекрасный, самый восхитительный в мире фейерверк в честь той беззащитной сиротки, которая разбудила его дремлющую душу. Что поделаешь, коль самого его на этот праздник не пригласили! Он примостится где-либо неподалеку, чтоб видеть устроенное им самим зрелище — свою воплотившуюся мечту.

Мы знаем, что единственное исцеление от зла — это его искоренение. Но человек, свершающий это святое дело, должен быть предельно осторожен, чтоб, соприкасаясь с ядовитыми корнями эгоизма, остаться самому невредимым. Отвечать же озлоблением на зло — это значит, что один из этих корней остался у тебя в душе и рано или поздно даст новые ростки.

Жертва, ставшая палачом, по существу, его вернейший соратник, исповедывающий его бесчеловечную веру.

Горб Квазимодо прекрасен тем, что не давит камнем на его душу, не только не сгибает его, но — в конце концов превращается в крылья.

В те самые крылья, благодаря которым ему была дарована возможность последнего, прекраснейшего полета.

Герой М. Абашидзе вызывает искреннее сочувствие, когда оплакивает в себе человека вообще, бездушием затоптанное человеческое начало — племя «униженных и оскорбленных». Когда же его слезы и желчь вызваны личными неудачами, сочувствие читателя постепенно угасает или же перерастает в брезгливую жалость.

То же самое можно сказать относительно содержания его протеста. То он возвышается до понимания борьбы с произволом с позиций всего человечества, то ограничивается требованием мелкого отщепенца (личной «сатисфакции»).

Моментами читателем овладевает равнодушие к этому несчастному человечку. Не тогда, когда действия его нарушают нормы поведения, принятые «просвещенным обществом», но тогда, когда они лишены уже внутреннего человеческого достоинства и постольку — и эстетической ценности, — т. е. того, что в искусстве придает смешному жесту клоуна трагическую окраску. Таких моментов в рассказе мало. Но они, к сожалению, все-таки делают свое дело.

У признанного главы сюрреалистического течения в современном киноискусстве — Бергмана есть сравнительно мало известный (полностью реалистический) фильм, о котором с особым увлечением рассказывал грузинский кинорежиссер Тамаз Мелиава.

Пьяные пастухи насилуют дочь верующего крестьянина (он приютил их на ночлег). Крестьянин выносит смертный приговор спя-



щим пастухам. План возмездия разработан детально и столь же детально осуществляется на экране. Но этому предшествует одно.

Отец девушки перед возмездием исполняет символический ритуал омовения — прежде чем стать судьей, он должен очиститься от земных страстей и побуждений.

В финале рассказа М. Абашидзе есть психологические элементы такого же «омовения».

Карлик словно возвышается над собой, на время забывает полученные им унижительные тумаки и из злобного дебошира превращается в грозного рыцаря правды (этому предшествует его «очеловечение», когда он бегаёт от аптеки к аптеке в поисках лекарства для больной сестры).

Выход словно найден, определен путь, но мы пока еще не знаем, как преодолеет его надломленный отчаянием герой рассказа.

...Несколько слов о стиле М. Абашидзе. С художественной точки зрения рассказ вызывает двойственное чувство. С одной стороны — талант, энергия, страстность, яркие отпечатки человеческого сознания и подсознания...

С другой — незавершенные картины, не отточенные до конца черты характера, рядом с чрезмерностью ощущение недостаточности.

...Самое сильное оружие М. Абашидзе — ирония. Однако не следует думать, что это обычная форма насмешки. Это тот самый вид смеха, который привнесли в литературу немецкие романтики — романтическая ирония.

«Сюжет» иронии сложен и порой перерастает в такую чудовищно феерическую веселость, так контаминирует фантазию и быт, отчаяние и остроумие, столь необычно преподносит самые обычные, знакомые предметы, что чувствуешь — перед тобой качественно новый сплав вдохновения.

Главное: в рассказе Мераба Абашидзе чувствуется большая тяга к праздности — не к внешнему правдоподобию, а к внутренней, наиболее труднодобываемой, не поддающейся упрощению жизненной правде.

Соответственно этому избранный им путь — самый трудный в литературе.

Такой выбор требует особенно чуткого отношения со стороны читателей.

Теймураз ДОИАШВИЛИ

# Поэти традиция

Хотя сегодня мало кто из поэтов отважится назвать свое стихотворение подобно галактионовскому «Арс Поэтика», зато, пожалуй, никогда еще не посвящалось столько стихов назначению поэта, как в наше время.

Поэзия стала излюбленной темой поэзии.

Отношение поэта к своему Искусству раскрывается и в стихотворении Гиви Гегечкори «Жаворонок», вошедшем в его новый поэтический сборник (1977). Здесь свободному устремлению певца природы — жаворонка — противопоставляется призвание поэта, чья душа, думы, мечты влекут его, подобно певчей птице, ввысь, а плоть и долг пред миром сим неизменно заставляют тяготеть к реальности: «Я — от Земли. Землею порожден, пред нею голову склоняю, здесь праздную победу.

вскинув руки, подобно Нике, здесь молот мой вбивает в Землю кол. Так как же долу изменить и в небо ускользнуть?»<sup>1</sup>. Конечно, это одна из сторон медали.

Но ведь невозможно представить поэтическое творчество без стремления к идеалу?! Поэтому: «Я — нет, но мысль моя есть устремление к небу».

Пытаясь осмыслить концепцию поэта, невольно обращаешься к таким классическим строкам, как: «Не для сладких песнопений небом послан я на землю» (Илья Чавчавадзе); «Но мы сыны земли, и мы пришли на ней трудиться честно до кончины» (Николоз Бараташвили).

При сопоставлении кredo Гиви Гегечкори с выше-

<sup>1</sup> Здесь и ниже стихи приведены в подстрочном переводе.



приведенными строками становятся очевидными его отношение к национальной поэтической традиции, черты сходства и различия в подходе к решению вопроса, составляющего основу основ творческой концепции каждого поэта. Поэтому приобщение к поэтическому миру Гиви Гегечкори напоминает встречу со «знакомым незнакомцем».

Процесс развития поэтической системы вбирает в себя многие компоненты, но решающее значение здесь все же принадлежит разработке нового отношения к слову как к первоэлементу литературы. Когда в начале XX века реалистическая поэтика «шестидесятников», оказавшись в руках эмигрантов, была сведена к штампам, явился новый Орфей, вызвавший из недр грузинского языка мириады голосов и красок. Этим Орфеем был Галактион Табидзе.

Но годы шли. Новаторство само превратилось в штамп. Стали заметны симптомы кризиса: подражательство, трафарет. Лишь истинные таланты сохранили самобытность. И вновь — знакомая дилемма: обновление или послушное следование привычным образцам. Начался болезненный, но необходимый процесс пересмотра устоявшихся поэтических норм. Рушилась стройная метрика стиха, становился свободнее, раскованней ритм. Стих, стремясь осознать свою сущность, с надеждой обращал взор к прозе. В поэзию вторгались прозаические темы. Прозанзмы

воспринимались как новации.

Но был и другой путь — возврата к классическому наследию. возрождение и я классической поэтики в новой литературной атмосфере. На фоне образов, основанных на далеких ассоциациях, поразительно свежо прозвучало родное: «Лес покрылся листвою» (И. Чавчавадзе). Слова, еще недавно напоенные музыкальным экстазом, жадно потянулись к предметам, земле, ясности и конкретности. «Вперед к классикам». Новаторство иногда — в возрождении старого, непреходящего, временно забытого. Для Гиви Гегечкори этот путь оказался наиболее близким.

«Поэты девятнадцатого века» — так озаглавлено одно из его лучших произведений. Интимность интонации, искренние слова, обращенные поэтом к стихотворцам минувших лет, свидетельствуют о том, насколько важно для него обращение к их светлым образам. Строки стихотворения как бы создают групповой портрет, с которого на нас смотрят дорогие лица.

Чем же они привлекают поэта? Какая притягательная сила восстанавливает нарушенную связь времён? Прежде всего, беззаветная верность наших предков родине и утверждение в поэзии гражданского пафоса, их душевная твердость, внутренняя чистота. «В слезах ваших Грузия трепетала, и были стихи ваши приютом души».



Вот что питает чувство благодарности, которое испытывает современный поэт к своим великим предшественникам: «Мы выпрягли коней из колесницы, мы повезем вас...».

Но неужели все это кануло в прошлое? Неужели восторг поэта — лишь отблеск, говоря его же словами, «музейного настроения»? Нет. Самое ценное для Гиви Гегечкори в том, что они и сегодня живы. Живы их вера, рыцарство, их слово и творчество. «Когда строка вашего огненно-скорбного грузинского стиха пронесется мимо нас, словно комета, вы приходите к нам, чтобы стать с нами в ряд у подступов двадцать первого века». Это не только слова. Для Г. Гегечкори поэзия стихотворцев девятнадцатого века непреходяща как по своему духу, так и по форме. Это — гражданская позиция автора и его эстетическая ориентация. Поэтому звучит так убедительно клятва поэта: «Ничто нам не простится ни по молодости лет, ни по старости, с честью должны мы пред вами предстать, соединившись вместе».

В романе «Доктор Фаустус» Томас Манн пишет: «Если нельзя понять нового и молодого, не разбираясь в традициях, то и любовь к старому, стоит лишь отгородиться от нового, вышедшего из него по исторической необходимости, делается ненастоящей и бесплодной».

В стихотворениях Гиви Гегечкори не только новое воспринято на фоне традиции, но и сама традиция в

связи с этим новым осмысливается глубже и многогранней.

Близость поэта к традициям классики подтверждается не только не уместающимся в рамках классического посвящения стихотворением, обращенным к Давиду Гурамишвили. Это и не славословие, питающееся одним лишь восторгом, и не поэтическая интерпретация (еще одна) трагедии великого поэта. Стихотворение представляет собой монолог, во внутреннем диалогическом строении которого зафиксированы размышления предка и потомка о судьбах родины, о назначении поэзии, о народности художественного слова. Мысль облечена в такую непосредственную форму, как будто два рачительных крестьянина ведут неторопливый разговор в стихах о заботах сельской жизни.

С родных высот зовет современный поэт затерянного на чужбине Давида, будто желая показать, что Грузия жива: «Здесь Алазань поет, а там уже Арава, здесь колыбель и усыпальница моя».

Предка и потомка объединяет одинаковое понимание сущности поэзии.

У поэта нелегкая ноша патриота, верного сына своего народа: «Во все времена творец ободряет и будит народ свой, долг его схватить под уздцы взбесившегося скакуна».

Воспитанный в этой эстетической и этической традиции, он верит, что «стих отвергшего твою заповедь выродится».



В этом произведении Г. Гегечкори обращается к стилизации, проявляющейся не только в обилии медитационного элемента, характерного для «Давитиани» (книги Давида Гурамишвили), но и в имитации поэтических средств. Стих живет двойной жизнью: за реальным текстом ощущается книга Гурамишвили. Конкретные образы, лексика, ритмико-интонационный строй порой создают полную иллюзию воспроизведения «Давитиани»: «Если нет у дома двери, как ее закрыть, как скакнуть оленю, если ноги связаны...».

Понятно, что здесь нельзя говорить о полном тождестве. Несмотря на близость к «Давитиани», перед нами современное стихотворение, а не дубликат гурамишвилевского стиха.

Принцип, ставший очевидным благодаря стилизации в посвящении Давиду Гурамишвили, весьма важен для поэтики Гиви Гегечкори. Поэт углубляется в классическую поэзию, варьирует ее формы. Его ориентация на ясный стиль и четкое мышление воспринимается как проявление благородной простоты. В качественно новой ситуации классическая поэтика обретает новую жизнь, становится обновляющим фактором поэзии.

Гиви Гегечкори — верный защитник завещанного нам кодекса чести. Поэт внутренне бескомпромиссен, когда видит оскорбление человеческого достоинства, крушение духовных ценностей. В схватке с ненавистью, цинизмом, равно-

душием он ощущает плечо предков и их поддержку и, как их потомок, благодарный, чистосердечный и честный, — горд и самолюбив. Поэт силен тем, что среди современников у него немало единомышленников, высокую поэзию и гражданскую позицию которых он уважает. В противовес тем, чьи «книги похожи на холодное и равнодушное строение», чье творчество «монолог изъеденной эгоизмом души», Гиви Гегечкори на стороне тех, для кого стих и «нежный ребенок», и разитель «нерасторжимой связи с жизнью». Его идеал — в «активном уединении», в жизни вдали от рукоплесканий; он на стороне тех, кто «вновь возвращает строке способность поражаться» («Анне Каландадзе»). Но жизнь сложна и противоречива, в ней трудно достигнуть «активного уединения». «Нелегко душе найти успокоение, когда есть еще кругом и грязь, и порок, когда «достойного оскорбляет недостойный». Поэтому: «Пока жив, надо биться с равнодушием, как бьется дворник с ломом в руках со льдом на тротуаре».

В нравственных поисках Гиви Гегечкори есть еще один союзник и судьба — тень его отца. Проживший жизнь в мечте романтик, которого не смогли сломить житейские невзгоды, для которого смысл жизни состоял в стремлении к духовному совершенству, — таков образ отца, нарисованный поэтом. Вот перед кем он в ответе своей жизнью и совестью.

Но достаточна ли личная

порядочность для очищения общей моральной атмосферы? Романтическое возвышение над жизнью, преодоление утилитарных инстинктов и порядочность — еще не есть гражданская позиция: «Ведь ничего молчанием не добьешься, но молчи и там, где молчать не надо».

В душе поэта зреет мысль о необходимости преодоления «интеллигентской» инертности, нерешительности, о концентрации всех сил во имя борьбы со злом, бесчестностью.

Твердое осознание этого гражданского долга ощущимо в стихотворении «Феодалы», являющемся непосредственным ответом поэта на проблемы, поставленные жизнью. В этом произведении автор показывает духовную нищету наглогостяжателя и собственника, укрывшегося за личиной доброго малого и патриота, выражает народное презрение к нему. Поэт находит внутренние силы для сопротивления с новоявленным наглым «повелителем». «О, плата за это спокойствие будет суровой... Лишенный стыда человек возвысился над тобой, так подними голос, прегради путь преступнику, не уступай ему, это — война!».

Современный поэт видит свой гражданский идеал в общественной активности. Гиви Гегечкори и в этом верен предкам: «Движение и только движение!».

Гиви Гегечкори чувствует себя в ответе не только перед настоящим, но и перед минувшим. Для него история не только прошлое,

не только то, что произошло без него и независимо от него. Он — участник трагедий, происшедших в давние времена, ибо чувствует себя их современником. И поэтому — отчетливо слышит в разоренной греками Колхиде «крик сорвавшихся с кручи жены и ребенка».

Как единомышленник, идет он рядом с Тевдоре, принесшим себя на жертвенник отчизны, по дороге к Квендариси. Душа поэта объята «всей трагедией тысячи веков», которая жива в его воображении. Прошлое продолжается в настоящем: «Из глубины веков зовет меня петух, стремясь звуком голоса своего оживить забытое, погруженное в течение многих столетий в глубокий сон в моей измученной душе».

Стихи «Золотое руно», «Возвращение», «Тевдоре», написанные на историческую тему, — поэтические парадигмы из истории Грузии; они дают нам почувствовать святой гнев, накопленный в недрах национального духа, и освещают вечность.

Значительная часть стихов Гиви Гегечкори ориентирована на повседневность — лирическая тема найдена там, где ее существование на первый взгляд может показаться сомнительным. Поэт отказывается от так называемых выигрышных тем, от патетической приподнятости. Для него предметом поэзии является семейный быт, прогулки с детьми... Бытовые детали влетают в ткань стиха с натура-



дистической точностью. «Да в чем же дело, город весь читает этот глупый роман... В холодильнике, кажется, масло».

Фразы, всплывающие в сознании одна за другой и логически не связанные между собой, при «столкновении» высекают поэтическую искру.

«Снижение» тематики находит отражение в художественном мышлении, что вполне закономерно. Преодоление иронически сформулированного ограничения: «Соловей можно, форсунка — нельзя» (В. Маяковский) влечет за собой изменения в поэтике, иные представления о поэтичности образа.

В художественных образах Г. Гегечкори зачастую сопоставлены объекты, один из которых, как правило, бытового порядка. Образ организован таким образом, что происходит не «поэтизация» сравниваемого предмета, а перенос его из высоких регистров в повседневность. Такое построение рождает ощущение необычности и неожиданности: «Дух нержавеющей сохранился в его старческом взоре и голосе надтреснутом так, как в ящике буфета — фразе ножей и вилок».

«Дух нержавеющей» и «фразе ножей и вилок» — два структурных элемента сравнения. Первый — «предмет» — взят из лексикона избранных поэтических слов, другой — «образ» — из быта. При подобном неожиданном пересечении «возвышенное» становится «земным».

Такой принцип построе-

ния образа продиктован не только целью придать «странность» отношениям предметов; он отражает и отношение поэта к действительности. Это творческая попытка «укротения» предметов, выраженных в абстрактных понятиях, их возвращения на землю. «Дух», реализованный в приведенном сравнении, уже структурно-возвышенное понятие. Он опущен на землю.

Еще один пример.

«Жизнь трудна, но надо довести роль до конца, пока не истаяешь, как валидол под языком».

Это сравнение тоже повторяет описанную модель: смерть — истаявший валидол. «Высокое» понятие — смерть — превращено в бытовое явление. Это — приуроченная смерть, столь же обычная, как тающий валидол под языком. Тема из возвышенных сфер перемещается в повседневность.

У Г. Гегечкори есть один образ, освещенный внутренней печалью и благородной болью: «Улыбаясь, посматривает на меня женщина, как луч солнца, со скальзывающий с треснувшей черепицы».

Это сравнение необычностью, глубиной и точностью воображения напоминает прекрасные строки Тамаза Чиладзе:

Смущаюсь твоей усталой  
улыбкой,  
Нескончаема земная тоска,  
Так бессловно и так  
одинок  
На горных склонах тает лед.

Поэтическое содержание «улыбки» необычно рас-

крывается в обоих сравнениях. Вот только «высокая» тема привносит снежную белизну, а «заземленная» — обращается к символике «треснувшей» черепицы.

Принцип построения образа, к которому прибегает Гиви Гегечкори, в каждом конкретном случае выполняет особую, своеобразную роль. Мышление понятиями уводит поэзию к сухости и чуждой для лирики обобщенности.

Как это ни парадоксально, своим принципом организации художественного образа Гиви Гегечкори перекликается с боготворимым им предком Давидом Гурамишвили (ср.: «Меня судьба бесплодием как палицей сразила»). Но то, что у автора «Давитиани» идет от близости к жизни и народному быту, в творчестве современного поэта является сознательным художественным приемом. Модель, отмеченная в поэтической системе Давида Гурамишвили, спроецированная на другие, отличные поэтические каноны, трансформируется и приобретает новую функцию.

Большинство из вышеприведенных образов взято из стихов на бытовые темы. Поскольку же тема находится у Гиви Гегечкори соотвествующую художественную форму, его искания выходят за рамки субъективных намерений, становясь фактом поэзии. Высказывая эту мысль, я оставляю за собой право подчеркнуть, что обращение к «низким» темам и образам в поэзии требует особой мобилизации чувства

меры, ибо расстояние от «поэзии повседневности» до натурализма, от «низкого» поэтического образа к вульгарному словосочетанию весьма короткое. Такая опасность в стихах Г. Гегечкори редко становится реальной, но иногда при конструировании поэтического образа он приближается к грани, за которой простирается болото банальности.

Знаменательно, что самой характерной формой образного мышления в творчестве Гиви Гегечкори является сравнение. В условиях глобальной метафоризации современной поэзии акцентирование на этом не может носить случайного характера.

Основа всякой метафоры — внутренний дуализм, совмещение в одной структуре «предмета» и «образа». Предметный мир в метафоре, как правило, затенен, отодвинут на задний план — над «предметом» доминирует «образ», созданный воображением поэта. В сравнении, в котором художественный эффект создается за счет основанного на сходстве предметов взаимоотношения между ними, предметы сохраняют самостоятельность. Поэт, для которого сравнение — основная форма образного мышления, не может оставаться равнодушным к предметам и их отношениям, вообще к вещественному миру. Это значит, что реабилитация предметов влечет за собой реабилитацию слов — знаков.

Гиви Гегечкори — сторонник не условного языка поэзии, а конкретного слова. И в своем прямом зна-



чений оно является для него художественным феноменом, так как он знает, что образность в поэзии создается не только за счет метафоричности. Слово в стихотворной конструкции равно и не равно самому себе — наряду с прямым, первичным своим значением оно приобретает другое — более широкое, внутренне поэтическое.

Выдвижение на первый план сравнения как конкретной формы образного мышления — четко выраженная тенденция в поэтическом сборнике Гивы Гегечкори. Но это не приводит к отрицанию метафоры. Поэт пользуется и этим приемом, оставаясь и здесь верным классическим образцам. Из двух нижеприведенных метафор явствует, что для Г. Гегечкори не чужды ни нарушение реального синтаксиса, ни поэтика «совмещения несовместимостей»: «...Кто сможет пройти в нехоженых снегах твоих снов наяву»; «Защел на сельской улочке персик расцветшего платья Теброне...». Но, в основном, метафора поэта имеет вполне определенный смысл. Она не создает бесконечного пространства по ту сторону образа, а наоборот — ведет к конкретно улавливаемой предметности.

В своих стихах Г. Гегечкори преодолел технологию «делания» метафор, позволяющую выпускать гладкие штампы. «Изготовленный» по этой технологии образ (например, «вздыбленная душа ржет») встречается раз-другой и тут же исчезает в море прекрасных образов.

Не боится он употреблять и известные, распространенные метафоры, обладая способностью обновлять, освежать трафаретные образы. Так, метафора «осень» как обозначение определенного отрезка жизни человека принадлежит к ряду старых, традиционных образов поэзии. В стихах же Г. Гегечкори она приобретает новизну: «Но уже осень моя идет в башмачках золотых»; «Для него не шуршит грустный блюз осенних дождей». Слово-образ, оказавшись в этом контексте, становится живым элементом созданной поэтическим воображением действительности.

В исканиях Г. Гегечкори экспериментально намечен путь обновления старой метафоры через бытовые элементы. Это все тот же способ перевода художественных образов в низкий регистр, о котором шла речь выше. «Ты, вяжущая на спицах скуку и уют (три петли вправо, три петли влево)». Попытка соединить в поэтическом воображении возвышенное и повседневное и здесь находит свое подтверждение.

Поэтический сборник Гивы Гегечкори написан рукой зрелого мастера, от зоркого глаза и острого слуха которого редко ускользает неточная деталь или непостоянная фраза. В стихотворении «Поэты девятнадцатого века» есть такие строки: «Вы пировали на свадьбах дэвов средь дымящих котлов...».

Последнее четверостишие вносит диссонанс в образно-ассоциативную ткань стиха. И это потому, что об-



раз, хорошо знакомый читателю, имеет свою хронологию. Он разрушает очерченную темой грань времени и воспринимается как неточность.

Поэту, в творчестве которого ясно видна способность восприятия одного явления с разных ракурсов, не следует повторять художественных образов. В стихах Г. Гегечкори самоповторения встречаются: «И в чьих глазах к берегам Беотии медленным шагом гекзаметра катится волна»; «И в их ржавых глазах Понт катит вспугнутое стадо синих холмов». Если повторение столь хорошего образа еще допустимо, то в варьировании трафаретной метафоры, видимо, необходимо было проявить больше строгости к себе.

Гиви Гегечкори — поэт, черпающий вдохновение не только из реального мира. Его художественное воображение питается и книжной действительностью. Понятия и термины, связанные с книгой, литературой, для него — строительный материал художественного образа. «Раз приехать в деревню — то же самое что перечитать книгу»; «Дождь, как словарь, шуршит во тьме ночной»; «Он мчит коныя низким иль высоким шапир» (примечательно, что стихотворение, откуда взята последняя строфа, вдохновлено образом Асма — персонажа «Вепхисткаосани»).

Но превращение литературной действительности в поэзию не всегда возможно. Например, тот отрезок стихотворения «Слуга», в котором содержится указание

на некоторые пассажи бессмертной поэмы Данте, остается лишь простой линией формирования. Стихотворное воплощение книжных образов и впечатлений для Г. Гегечкори носит не случайный характер, поэтому он должен уделять им больше внимания.

Некоторые произведения поэта по своему объему превышают неписаную норму, установленную в сознании читателя для лирики («Анне Каландадзе», «Десять часов ночи»). Разгрузив эти стихи от смысловых повторов, можно было добиться их большей компактности и композиционной цельности. В связи с писанием «длинных» стихов хотелось бы напомнить следующее изречение: «Для стиха сюжет так же инороден и необходим, как имя для человека» (Поль Валери).

Примеры, о которых говорилось выше, в поэтическом сборнике Г. Гегечкори встречаются как редкие исключения. Может быть, поэтому и не стоило бы на них останавливаться. Но уважение к поэту и вера в его возможности, желание дальнейшего совершенствования его творчества не позволили умолчать о них.

Поэтическое развитие Гиви Гегечкори входит в новую фазу. Благодаря длительному, лишенному внешних эффектов, интенсивному поиску он выработал оригинальную позицию, отношение к предшествующей и современной поэтической культуре, создал свою поэтику.

Колосья поспели. Настает время жатвы.

В вышедшей в минувшем году на польском и русском языках антология «На красных октябрьских цветах», лейтмотив которой — «Ленин — Революция в творчестве советских и польских писателей», грузинская поэзия представлена стихотворениями Галактиона Табидзе, Симона Чиковани, Григола Абашидзе, Хута Берулава, Нази Киласония.

В сборниках рассказов советских писателей, выпускаемых Государственным издательским институтом в Варшаве, одновременно были напечатаны рассказы Нодара Думбадзе.

Тот же институт (ПАКС) выпустил на польском языке «Белый воротничок» Михаила Джавахишвили. Перевод с грузинского оригинала осуществил Анджей Тхужевски. В издательской аннотации сказано, что воспитание героя произведения «автор проводит способом небанальным, в среде для польского читателя экзотической, показывая интересные обычаи хевсуров».

Задачей основанного по инициативе Общества польско-советской дружбы, журнала «Пшиязнь» и ряда других организаций клуба советской книги «Калина красная» является популяризация советской прозы и поэзии среди самых широ-

# Книги

---

## Грузинских

---

## писателей

---

## на польском

---

## языке

---

ких масс польских читателей. В этом году члены клуба смогут пополнить свои библиотеки 19 книгами, среди которых — повесть Т. Чиладзе «Дворец Посейдона», выходящая на польском языке в издательстве «Ксеняжка и Ведза». В краткой аннотации, предпосланной книге, сказано: «Автор поднимает проблемы современные, но одновременно и вечные. Его герои, представители грузинской интеллигенции, являются неприспособленными людьми, полными противоречий, они ищут способ существования в мире, не подверженном опасности катаклизмов, но и не свободном от страданий».

В роли активного пропагандиста грузинской литературы выступает выходящий наряду с другими языками и на польском журнал «Советская литература». В прошлом году он познакомил своих читателей с творчеством Карло Каладзе. Из двух его тематических книжек одна была посвящена литературе и искусству Грузии. В нынешнем году на его страницах появится повесть Александра Эбаноидзе «Два месяца в деревне, или брак по-имеретински».

А журнал «Пшиазнь» в конце 1977 года писал, что минувший год в советской литературе выделился особенно отчетливо произведениями, поднимающими кардинальные проблемы на конкретном историческом материале, почерпнутом из жизни сегодняшней и прошлой, всегда погружая эту ключевую проблематику в контекст социалистических идеалов человека и общества. Так поступает грузинский прозаик Чабуа Амиреджиби в обширной социально-нравственно - философской фреске «Дата Туташхиа, или человек вне закона», где история благородного разбойника Дата Туташхиа, борющегося против царского бесправия, послужила канвой яркого многопланового и многопроблемного романа, исследующего вопросы функционирования власти, моральных понятий, философских проблем.

В аннотации к повести Отна Иоселиани «В плену у

пленников», выпущенной издательством ПАКС в переводе на польский язык Евы Бжозовска-Брыль и Эрнста Брыль, читаем: «Отна Иоселиани, популярный в Советском Союзе современный грузинский писатель, знаком польскому читателю. Издательство ПАКС опубликовало его романы «Жила-была женщина», «Звездопад»...

Новая книга, переведенная на польский язык, — еще один отголосок минувшей войны... Полное напряжения действие, разворачивающееся на фоне неприступных гор, выступающих сообща с защитниками, увлекает читателя, пленяя его поэтическим настроением, незнакомыми обычаями, простотой прекрасного языка».

О той же книге Ян Зыгмунт Якубовски писал в газете «Трибуна люду»: «...Книжка действительно необыкновенная, пленяющая эпическим настроением, поэтическим языком, тонким анализом переживаний людей, поставленных перед лицом конечных решений о жизни и смерти».

Даже столь краткий, беглый и неполный свод сведений о произведениях грузинских писателей, опубликованных в Польше на польском языке, об откликах на них польских авторов, свидетельствует о живом интересе польской общественности к грузинской литературе, о глубоком понимании происходящих в ней процессов.

Алексей ГЕРШТЕНЬЛИТ.





# По страницам

# „Ревю де

# Картвелоложи“

Недавно в Тбилиси поступил последний, 35-й том журнала Национального научно - исследовательского центра Франции «Ревю де Картвелоложи» (1977 год). На 350 страницах этого объемистого издания опубликован ряд важнейших работ по вопросам грузинской культуры — статей, рецензий, обзоров, переводов.

Журнал открывается портретом академика Акакия Шанидзе с надписью «К 90-летию со дня рождения». Здесь же в переводе профессора Ренэ Лафона помещено его небольшое обращение к грузинам, проживающим за рубежом:

«...Не забывайте родного языка, нашей сладостной грузинской речи. Этим языком следует гордиться, на этом языке писали мы литературные тексты с V века, на этом языке Шота Руставели создал «Вепхисткаосани».

Тут же мы читаем и слова приветствия в адрес юбиляра, а также текст ответной благодарственной телеграммы Акакия Шанидзе.

В статье Ш. Дзидзигури, Р. Рамишвили и Г. Шмидта рассказано о жизни и деятельности грузинского ученого. Приведенные авторами многочисленные факты свидетельствуют о заслуженной славе, которую А. Шанидзе снискал как ученый и общественный деятель.

Внимание привлекает обширный обзор опубликованных в Грузии работ грузинских ученых, в котором его автором Гастоном Буачидзе рассмотрены «Грамма-

тика древнегрузинского языка» А. Шанидзе, «Константинэ Гамсахурдиа» М. Абуладзе, «Мир греческого рыцарского романа XIII — XIV вв.» А. Алексидзе, «Описание личного архива Иванэ Джавахишвили», сборник грузинского фольклора, 7—8 тома «Вопросов древнегрузинской литературы и руствелологии», посвященные 100-летию со дня рождения И. Джавахишвили, а также книги «Искусство в Грузии» (Ф. Гогичаишвили), «Архитектура Эртацминдской церкви» (И. Гомелаури), «Иванэ Джавахишвили» (С. Каухчишвили), «Мировоззренческие проблемы в «Вепхисткаосани» (Э. Хинтибидзе), «Баскский язык» (Ренэ Лафон), «Баскско-кавказская гипотеза» (А. Чикобава), «Язык и стиль философских сочинений Иоанна Петрици» (Д. Меликишвили), «Принадлежит ли Руставели стихотворение «Собрались философы» (Ш. Ониани), «Древнегрузинские пляски» (А. Татарадзе), «Материалы к археологии Сванети» (М. Чартгогани), сборник «Руставели в мировой литературе».

Заслуживает интереса статья самого Гастона Буачидзе «Несколько стихотворений Ронсара» — о переводах на грузинский язык нескольких стихотворений Ронсара, осуществленных на высоком художественном уровне Г. Абашидзе и Г. Гегечкори. В том же томе опубликовано продолжение французского поэтического перевода «Вепхисткаосани», выполненного Гастоном Буачидзе (переведены 12 строк «Сказа об охоте царя Ростевана и Автадила»).

Журнал знакомит читателей с рецензиями и обзорами работ грузинских ученых («Грузинский церковный календарь», «Многоглав, филологическое исследование», «Сочинения» Ю. Абуладзе, «Синайский многоглав, исследование и словарь» И. Иманашвили, «Вопросы истории литературного языка» Г. Сарджвелидзе, «Библиотечное дело в Грузии» А. Лория и Н. Гургенидзе), принадлежащими молодому картвелологу, специалисту по литературам христианского Востока Дому Бернару Утье. Кроме того, здесь же можно найти и его исследование «О тбилисской рукописи А-249». На основании высланного профессором Е. Метревели микрофильма указанной рукописи французский ученый изготовил фотокопии и написал ценное исследование, вызвавшее большой интерес специалистов.

Как известно, в 1976 году вышла объемистая книга А. Лория и Н. Гургенидзе «Библиотечное дело в Грузии», в которой излагается история грузинских библиотек с десятого века

до двадцатых годов нашего столетия. В ней рассмотрена история древнейших монастырских, придворных и фамильных библиотек. Как видно из обширной рецензии, Д. Б. Утье заинтересовался этой работой и дал ей высокую оценку. «Изучение истории библиотек, — пишет он, — подразумевает освещение важного аспекта истории культуры. Насколько нам известно, подобной работы в масштабах Грузии до сих пор не было написано. В книге восстановлена история библиотек Грузии. В ней хорошо показано, сколько испытаний перенесла Грузия, о богатой древней культуре которой мы можем судить лишь по отрывочным сведениям, подобным остовам затонувших кораблей, выброшенных морем на берег после кораблекрушения...».

Вместе с тем у рецензента есть и замечания к этой книге. На ее 56-й странице мы читаем: «В XI—XII веках Болниси — крупный населенный пункт. Здесь протекает оживленная монастырская жизнь и ведется книжная работа. Подтверждением этому служит деятельность Иоанна Болнели, совпадающая с этим периодом». По этому поводу рецензент пишет: «Позволю себе заметить, что Иоанна Болнели, автора гомилий, нельзя отождествлять с человеком, носившим то же имя, который жил в X—XI веках. Проф. Мишель ван Эсброк на основе соответствующих аргументов показал, что автор гомилий Иоанн Болнели жил в VII веке».

Журнал представляет нам и работу молодого бельгийского исследователя, доктора филологических наук Мишеля ван Эсброка «История Лидской церкви в двух грузинских текстах». Исследователь публикует перевод обоих текстов, касающихся истории Лидской церкви. Автор основательно изучил этот памятник, относимый им к V — VI векам н. э.

Обширная рецензия профессора Е. Метревели «Новая работа о грузинском многоглаве» посвящена в книге профессора Мишеля ван Эсброка «Древнейшие грузинские гом依ии», вышедшей в 1975 году в Бельгии.

Как отмечает Е. Метревели, это — первая монография, посвященная бельгийским ученым грузинским многоглавам. После подробного анализа работы М. ван Эсброка автор приходит к выводу, что в ней прекрасно показано большое значение этого памятника для изучения не только древнегрузинской патристической, но и протовизантийской литературы.

Хорошо представлены в журнале переведенные на французский язык покойным Серги Цуладзе образ-


цы грузинской литературы с V века до наших дней: «Мученичество Шушаник» Якова Цуртавели, «Тамариани» Чахрухадзе, «Мученичество Або» Иоанна Сабанидзе, «Луна Мтацминды» Г. Табидзе, «Артур Рембо» П. Яшвили, стихи Важа Пшавела, И. Абашидзе, Г. Абашидзе.

В последнем номере «Ревю де Картвелоложи» мы находим также «Несколько страниц из истории Грузии» К. Салия, статьи Н. Салия, а также «Понятие фонемы в картвелологии», «О некоторых вербальных категориях», «Грамматику древнегрузинского языка» Акакия Шанидзе, «Греческий лентуг в грузинском» Г. Петч, «Венгерско-грузинские аспекты карт, составленных Иоганном Шёнером и его последователями в первой половине шестнадцатого века» профессора Лайоша Тарди, «Формальные корреляции функции грузинского падежа» Говарда Аронсона.

Без сомнения, журнал этот окажет большую помощь деятелям зарубежной культуры в изучении истории и духовной культуры грузинского народа.

**Серго ТУРНАВА.**





# Очерк о грузинской фронтальной поэзии

Эта красочно изданная миниатюрная книжка, как говорится во вступлении, содержит портреты молодых людей, собственной кровью защитивших свободу и счастье нашей Родины.

На фронтах Великой Отечественной войны, находясь меж жизнью и смертью, они писали стихи, потому что были не только воинами и патриотами, но еще и истинными поэтами.

На фронте выковывались такие их качества воинов, как мужество, духовная чистота, героизм. Здесь же происходила их поэтическая закалка. Так в огне войны рождалась поэзия. Потому-то кандидат филологических наук Борис Мирцхулава и назвал свой очерк «В огне закаленная поэзия». В нем хотя и кратко, но концентрированно поведаано о боевой жизни, поэтическом горении и исканиях, любви к Родине и подвигах представителей фронтальной поэзии.

Говоря о поэтическом мире поэта-воина Мирзы Гело-

вани, автор отмечает, что в его стихах, ясность сочетается с утонченностью и порою кажется, что поэт мыслит, творит у нас на глазах:

Треснутым лучам — рукам твоим,  
Вечеру и дню, где поиск и волнение,  
Именам дорогим,  
незнакомым, святым  
Мои стихи пусть будут, как прощенье!

В стихотворении «От Мтацминды до Смоленска» он убежденно восклицает — «солдата дух в бою не умирает!». Но если этого избежать не удастся, тогда:

Я виноват, меня простите,  
Что не вернулся я домой.

Поэт писал с фронта глубоко патриотические, искренние письма: «...Я защищаю Родину, чтобы будущие поколения были здоровыми, счастливыми и сильными... Я больше своей собственной жизни люблю Родину». И он без колебания жертвовал собой ради ее счастья.

Его военная лирика, простота формы его стихов, мастерство пейзажиста как магнит притягивают читателей.

9 мая 1975 года Мирзе Геловани была присуждена высшая республиканская литературная премия — имени Руставели. И, как отмечено в книжке, это говорит о высокой оценке заслуг поэта и воина, павшего смертью храбрых при форсировании реки Двина. Павшего, но не канувшего в безвестность, а обретшего бессмертие...

Недолгой была и жизнь  
молодого поэта Важики Пхочели:

Кто, как герой, сражался  
в бою.  
Будет жить в веках всегда,  
За Родину жизнь кто отдал  
свою,  
Тот не умрет никогда.

Героическим духом пронизаны  
чистосердечные стихи  
Георгия Напетваридзе:

Кровью спасли страну свою...  
Теперь цветет здесь  
виноград.

На фронте пал отец в бою.  
О ранах зов гремит, как град.

Их строки — словно перекличка поэтов-воинов. Героическим звучанием пронизаны и стихотворные строки Севериана Исиани:

И если саблей враг  
прикончит,  
Пусть грусть не виснет тут  
градой,  
Бойцов на фронте много  
очень,  
Ведь не вернуться ж  
всем домой.

По словам автора книжки, в этом стихотворении ощущаются тоска и грусть, но с еще большей силой — неистребимая любовь к жизни. Вообще в стихах всех поэтов, павших на поле боя, есть предчувствие смерти: но их печаль не слезливая жалоба и не тоска, вызванная трудностями войны, а лишь предупреждение, обращенное к будущим поколениям, — будьте бдительны, не дайте вспыхнуть войне!

В том же русле и стихи  
Владимира Убилава: 0619359210  
302201910330

Они спешат в шинели  
русской,  
На фронт далекий  
отправляясь,  
На страже мы в теснине  
узкой,  
Штыками, саблями сияя.  
Мужчина я, готов я  
встретить  
Врагов напавших гневом  
смелым,  
Не дам топтать им розы эти,  
Не дам, чтоб горы  
потускнели.

«В стихах Владимира Убилава слышен смелый голос молодого советского человека, чувствуется здоровое, оптимистическое настроение и мужественный дух», — писал поэт Алио Мирцхулава.

Голос поэта-бойца слышен и в стихах Давида Пататишвили:

Вихрь умолк. Со звездой  
говорил я приветно,  
Вдруг я землю обнял и в  
любви ей поклонился,  
Обо всем долго думал  
тяжелой ночью этой,  
Но со смертью, друзья,  
ни секунды не znalся.

В той же героической тональности — стихи Сандро Жгенти и Николоза Копалиани, чьи имена и стихи также незабываемы.

Очерк Б. Мирцхулава о молодых грузинских поэтах, погибших в годы Великой Отечественной войны, недавно выпущен Обществом любителей книги Грузинской СССР на грузинском и русском языках.

**Василий ЛАПЕРАШВИЛИ.**

Григол ОРБЕЛИАНИ  
(1800 — 1883)

## *Лик царицы Тамар в Бетанийском храме*

Светит мне святой  
Лик высокий твой,  
Затаивший прелесть неземную;  
Сердцем трепеща,  
К синеве плаща  
Льну в слезах, стопы твои целую.

В черный день скорбей  
Радуюсь твоей  
Тишине, лучистое виденье.  
В безысходном сне  
Снизойди ко мне,  
Заглуши Иверии паденье!

Край цветущий твой,  
Силой роковой  
Твоего величия лишенный,  
На пути обид  
Никнет и скорбит,  
Гнетом лихолетья помраченный.

Низведи твой свет  
Солнцем древних лет,  
Жительница горного чертога.  
Защити твой край,  
Сгинуть нам не дай,  
В день печали прогневившим бога.

Горестен и тих,  
Я у ног твоих —





Не отвергни моего моления!  
Вдовый твой народ,  
Твой избранник, ждет  
Снова твоего благословенья,

Чтобы край отцов  
На владычный зов  
Встал из гроба меж держав державой  
Церковью святой,  
Речью золотой,  
Мудростью украшенный и славой.

Воскреси наш слух,  
Укрепи наш дух,  
Нашу ревность оживи сыновью,  
Чтобы снова пел  
Мощь великих дел  
Руставели, движимый любовью.

Укажи пути,  
Души просвети,  
Растопи, царица, сумрак ночи.  
Но твой взор исчез  
В синеве небес,  
И меня твои не видят очи.

Кто я пред тобой!  
Обречен судьбой,  
Я отравлен горечью сомнений,  
Ибо от меня  
На закате дня  
Отлетел надежды светлый гений.

Что распалось в прах,  
Нам и в небесах  
Не предстанет красотой слитной.  
Где нам отыскать  
То, что отнял тать,  
Ворон взял добычей беззащитной.

Лживый, темный мир!  
Вероломный мир!



Он померкнет пред лицом печали,  
Тщетно — нежилой  
Дом пустынный твой  
Мы твоим величием населяли.

Превышая лес,  
Достигал небес  
Этот храм, затихший сиротливо,  
Где, как сон, возник  
Светозарный лик,  
Выведенный кистью терпеливой...

### *Плачущей Нине Чавчавадзе*

Почему печальна ты,  
Почему ты плачешь, Нина?  
Если не одни мечты,  
Горя твоего причина,

Ты на грудь ко мне приди,  
Я приму твои печали,  
Чтоб они в моей груди  
Слезы горькие рождали.

Мне милей твоя краса,  
Если плачешь ты мечтая:  
На глаза твои роса  
Набегает неземная,

Крупный катится жемчуг  
По ланитам цвета розы.  
Жаль мне будет, если вдруг  
Перестанут литься слезы...

Перевод Арсения ТАРКОВСКОГО

# НЕИЗВЕСТНАЯ РУКО- ПИСЬ А. Н. ПЫПИНА О Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМ

Как известно, Н. Г. Чернышевский около двадцати лет провел в сибирской ссылке (с 1864 по 1883 гг.). Передовые люди того времени с глубочайшим сочувствием относились к трагической участи великого революционера-демократа, однако предпринятые ими попытки организации побега из Сибири, как и усилия облегчить его участь, кончались неудачей.

В деле освобождения Н. Г. Чернышевского из сибирской ссылки принимали живое участие и грузинские общественные деятели — выдающийся публицист и литературный критик Николай Яковлевич Николадзе (1843 — 1928) и известный физиолог Иван Рамазович Тархнишвили (Тарханов) (1846 — 1908).

Когда в 1882 году Н. Николадзе хлопотал об освобождении Н. Г. Чернышевского, он через И. Тархнишвили обратился к двоюродному брату Чернышевского — профессору Александру Николаевичу Пыпину (1833 — 1904), известному историку русской литературы.

24 октября 1882 года И. Тархнишвили писал Н. Николадзе: «Многоуважаемый Николай Яковлевич! Повидать Александра Николаевича Пыпина можете завтра, т. е. в понедельник, с 8 часов вечера. Я его предупредил о вашем визите. Адрес Пыпина: Васильевский остров, 1-я линия, д. № 6. Готовый к услугам вашим И. Тарханов».

Несмотря на болезнь, А. Н. Пыпин послал Н. Николадзе четыре рукописи со всеми интересующими его адресата сведениями. Первая рукопись (в отличие от остальных трех она написана не самим Пыпиным, а профессиональным каллиграфом) не имеет заглавия, но рукой Н. Николадзе на ней сделана приписка: «Записка А. Н. Пыпина. СПб. 1882 г.», вторая носит название «Биографические сведения о Н. Г. Чернышевском», третья озаглавлена «Сведения о семействе и



положении Н. Г. Чернышевского» и, наконец, четвертая — «О литературных трудах Н. Г. Чернышевского».

То, что публикуемые рукописи являются именно этими документами, которые А. Н. Пыпин предоставил Н. Николадзе по просьбе последнего, подтверждается одним из писем Пыпина к Николадзе, в котором он сообщает своему адресату, на какие вопросы дает ответы в своих рукописях. В частности, А. Н. Пыпин писал: «...Посылаю вам ответы. Вопросы ваши были следующие: 1. Сколько теперь лет как самому Н. Г. Чернышевскому, так и всем без исключения членам его семейства; 2. Когда именно он приговорен, к чему и когда выслан; 3. Где он теперь; 4. Какие последние сведения имеются о состоянии его здоровья; 5. Где проживают, чем занимаются и чем существуют жена его и дети... Я говорил, кажется, вам, что в случае надобности могу сообщить вам и подробную записку об его целом деле. Как желал бы успеха вашим хлопотам, считаю излишним и говорить. И теперь большое вам спасибо. Вам преданный А. Пыпин». (Письмо датировано январем 1883 года).

Как уже отмечалось, в получении вышеупомянутых документов и вообще в деле освобождения Чернышевского вместе с Н. Николадзе самое деятельное участие принимал И. Р. Тархнишвили. Внучка выдающегося мыслителя Н. Чернышевская пишет, что профессор И. Тарханов принадлежал к кругу лиц, «окруживших глубокой сердечной добротой и заботой семью Н. Г. Чернышевского после его гражданской казни и ссылки в Сибирь».

Освобождение Чернышевского Нико Николадзе встретил специальной статьей, написанной для редактируемой им тифлисской газеты «Новое обозрение». В этой статье, обращаясь к читателям, Н. Николадзе писал: «Я бесконечно счастлив, что беседе с вами могу начать с отрадного в нашей безотрадной жизни события — освобождения Н. Г. Чернышевского... Судьба Н. Г. Чернышевского кошмаром давила совесть всех, кто знал его участь. Она теперь облегчена. И я уверен, что чувством глубокой и неподдельной радости преисполнились при этом известии сердца всех без исключения друзей русского развития и русской литературы».

Не удивительно, что цензура не пропустила статью Н. Николадзе, и она дошла до нас лишь в рукописном виде.

Об истории освобождения Н. Г. Чернышевского Н. Я. Николадзе подробно повествует в своей статье, опубликованной в журнале «Былое» (1907, № 9), что же касается самих рукописей, то первое научное сообщение о них принадлежит моему покойному мужу — Георгию Николаевичу Абзианидзе («Неизвестная биография Н. Г. Чернышевского», «Литератури газет», 1934, № 26), в архиве которого и сохранились записки А. Н. Пыпина.

Предлагаемые вниманию читателей «Литературной Группы» рукописи А. Н. Пыпина являются первостепенными документами для биографии великого русского революционера-демократа. В них содержится много интересных фактов, связанных с литературной деятельностью Н. Г. Чернышевского, с его жизнью, а также — что представляет особый интерес —

важные сведения относительно наказания и ссылки Чернышевского. Читая записки А. Н. Пыпина, несмотря на естественное в той ситуации желание автора опровергнуть выдвинутое против Чернышевского политические обвинения, мы еще раз убеждаемся, какой грозной силой являлся для самодержавия голос великого революционера-демократа. Вместе с тем, публикуемые рукописи воскрешают замечательные страницы культурных взаимоотношений русского и грузинского народов.

Анна НИКОЛАДЗЕ.

## ЗАПИСКА А. Н. ПЫПИНА.

СПБ. 1882 г.

Николай Гаврилович Чернышевский, арестованный 2-го июня 1862 года, два года пробыл в стенах Алексеевского рабеллина и в руках следственной комиссии, руководимой III отделением.

Дело Чернышевского, т. е. следствие и суд, тянулось целых два года, не потому, чтобы процесс был сложен: был следуют и судим один человек; к его делу не было привлечено никакого другого лица, потому, конечно, что не могло быть привлечено.

Но в присказии обвинения оказалось не легко одолимое затруднение. Известно было, что в течение нескольких месяцев после ареста ему не было даже делано допроса. По-видимому, ожидали, что самый обыск доставит материал для обвинения; но обыск его не доставил (об одном исключении упомянем далее), и опрашивать было не о чем. Впоследствии обвинения составились.

Сколько было слышно, в III отделенском и сенатском процессе (дореформенного порядка) ставилось против Чернышевского несколько общих и одно частное обвинение.

1. Видели в нем человека, вредно действовавшего на молодежь. Но не было представлено никаких фактов, а одни предположения.

2. Винили его по отношению к «Военному Сборнику». Но к участию в редакции этого журнала (в литературном отношении) он был приглашен официально, и журнал издавался в обычных цензурных условиях.

3. Винили его за «связи с поляками». Обвинение до крайности странное. Дело в том, что в 1856 году по Высочайше дарованной амнистии вернулось из ссылки много лиц русских (декабристы, петрашевцы, в числе последних был Ф. М. Достоевский), поляков, малороссов (Шевченко, Костомаров). Эта амнистия была одним из самых отрадных фактов, начинавших новое царствование, и общественное сочувствие было открыто для лиц, получивших царскую милость.

Между этими лицами было несколько первостепенных талантов. Общество отнеслось любезно и к полякам: трех-четыре человек из них знал Чернышевский. Это и был весь факт. Далее простого знакомства с двумя, тремя лицами эти



отношения никогда не шли, а крайностей политических мнений у некоторых поляков Чернышевский никогда не разделял. Это положительно утверждают лица, близко его знавшие.

4. Винили его за литературную деятельность. Эта деятельность совершалась в обычных цензурных условиях. В действительности литературные труды Чернышевского вовсе не имели того злоуредного характера, который был им приписан III отделенским и позднее сенатским обвинением. Позднейшая беспристрастная критика людей, его лично вовсе не знавших, признала в нем «блестящего публициста», чем он и был; к сожалению, обвинение вторило воплям его литературных и общественных врагов из крепостнического лагеря.

5. Наконец, винили Чернышевского в сношениях с заграничными революционерами.

Это было, кажется, первое реальное обвинение, по которому спросила Чернышевского следственная комиссия при III отделении. Дело в том, что при обыске в бумагах Чернышевского найдено было письмо, адресованное к нему Герценом (или, вернее, кажется, адресованное другому лицу, но с упоминанием о Чернышевском), который после закрытия (в мае 1862 г.) журнала «Современник» предлагал Чернышевскому издавать этот журнал в Женеве или Лондоне. Чернышевский в сношениях с Герценом вовсе и никогда не был, не был даже особенно расположен к этому писателю. Он сам писал в «Современнике» против Герцена и неоднократно подвергался даже язвительным насмешкам и обвинениям в «Колоколе». На упомянутое письмо Чернышевский, сколько известно, даже не ответил и бросил его без внимания, потому что не помышлял о заграничной журналистике. За несколько недель до ареста, когда ходили слухи, что Чернышевский будет арестован и сослан, Н. А. Серно-Соловьев предлагал ему, как достоверно известно некоторым тогдашним деятелям, средства эмигрировать за границу и издавать там журнал. Чернышевский наотрез отказался от этого предложения.

На допросе он отвечал, что в переписке с Герценом вовсе не состоял, что было совершенной правдой, а что он не может помешать всякому (он употребил даже раздражительное выражение) написать к нему письмо или упоминать его имя. Обвинение этим исчерпывалось, но, сколько помнится, «сношение с заграничными революционерами» осталось в числе обвинений в приговоре.

После этого допроса дело снова остановилось на несколько месяцев и возобновилось опять довольно странным образом.

В III отделении появилось показание против Чернышевского от некоего Всеволода Костомарова. Драгунский, кажется, офицер, проживавший в Москве, Всеволод Костомаров (занимавшийся стихотворством и поэтому бывший два-три раза у Чернышевского как у редактора «Современника») был судим еще в 1861 году за содержание тайной типографии в Москве и привлечен был также к одновременному делу М. Л. Михайлова. Присужденный к разжалованию в рядовые на Кавказ, Костомаров в конце 1862 или начале 1863 гг. был на пути к назначенному месту, но доехал только до Тулы, отку-



да получил разрешение явиться в С.-Петербург для дачи заявленных им показаний против Чернышевского. Как случилось, что после долгого следствия и суда, в течение которых была возможность таких показаний и когда даже их дали, мысль об этих показаниях явилась у В. Костомарова только через два года, когда он уже ехал в свою ссылку, мы не знаем; но достоверно то, что ценою показаний он освободился от необходимости отправляться рядовым на Кавказ, а остался в С.-Петербурге, где он жил на свободе и умер через два-три года после ссылки Чернышевского.

Показания В. Костомарова клонились к тому, якобы Чернышевский побуждал его напечатать в тайной типографии в Москве какое-то воззвание к дворовым людям (безграмотство которых Чернышевскому было прекрасно известно). Но эти первые изветы В. Костомарова остались безуспешными: подтвердить их он ничем не мог.

Позднее нашелся, однако, свидетель в подкрепление извета. Это был некто мещанин Яковлев, служивший прежде у Костомарова. Он будто бы слышал разговор Чернышевского с Костомаровым, где шла речь об упомянутом возвании. Чернышевскому была дана очная ставка с Яковлевым, на которой последний смешался так, что был выслан III отделением административно в Архангельск, так что на Сенатском суде эта темная личность уже не появилась.

К этому эпизоду с Яковлевым относится следующее обстоятельство, оставленное без разбора в сенатском процессе, но существенно важное, так как оно указывало на присутствие в этом деле прямого лжесвидетельства.

Однажды, в 1863 или 1864 г., в редакции «Современника» (возобновившегося в 1863 г.) получено было любопытное письмо. Это было коллективное письмо от пяти или шести человек—студентов Московского университета (из их фамилий остались в нашей памяти только Сулин и Гольц-Миллер), находившихся тогда, вследствие московской студенческой истории, в заключении в Московском смирительном доме. Юноши обращались в редакцию в предположении, что она не безучастна к судьбе Чернышевского, так как они имели сообщить по его процессу одно обстоятельство большой важности. Дело было в следующем. По словам письма, в одно прекрасное утро в смирительном доме появилось новое лицо, оказавшееся мещанином Яковлевым. В скором времени Яковлев познакомился с «господами студентами» и посвятил их в свои интимные дела. Они состояли в том, что Яковлева призвал к себе недавно В. Костомаров и «уговаривал его» поехать в С.-Петербург и, явившись по данному адресу (т. е. в III отделение), заявить о своем желании дать показание по делу Чернышевского). В. Костомаров «научил», какое «должно быть» показание, и уверял, что Яковлеву это будет выгодно. Яковлев согласился и отправился уже в С.-Петербург, но на дороге в пьяном виде нашумел, был взят, возвращен в Москву и посажен за буйство в смирительный дом. Теперь он обращался к «господам студентам» за советом, как они полагают, последовать наставлению В. Костомарова или нет; для него был интерес последовать, потому что по заявлениям им

о такой необходимости поехать в С.-Петербург его, без сомнения, тотчас бы выпустили из смирительного дома и после оставили бы на свободе.

Студенты отвечали, что не могут ему дать иного, кроме того, что он должен показывать только то, что в действительности было, и не показывать того, чего не было. Через два-три дня после этих бесед помещик Яковлев исчез из смирительного дома. Студенты поняли, что он пожелал соблюсти свою выгоду, т. е. отправился в С.-Петербург лжесвидетельствовать. Они опасались, чтобы лжесвидетельство не получило доверия, и просили довести факт до сведения властей. Они все поименно подписали письмо, замечая, что готовы утвердить правдивость своих слов под присягой.

О деле Чернышевского и именно о показаниях В. Костомарова ходили уже в обществе подозрительные слухи, и письмо из Московского смирительного дома открывало след темной интриги. Что с ними было делать? Единственным и всемогущим пунктом было III отделение. Тогдашние редакторы «Современника» Н. А. Некрасов и А. Н. Пыпин отправились заявить об этом письме и объясняемых в нем странных обстоятельствах генералу Потапову. Он прочел письмо и сказал, что с этим письмом делать нечего, так как дело Чернышевского перешло уже в Сенат. Известно было потом (как выше упомянуто), что помещик Яковлев действительно являлся давать показание против Чернышевского, но на очной ставке совершенно растерялся от своего собственного лганья.

Деятельность В. Костомарова, уже проживавшего на свободе в С.-Петербурге, тем, однако, не кончилась. Когда дело Чернышевского поступило в Сенат, то здесь уже явилось новое показание В. Костомарова. В Сенат доставлен был (сколько было слышно из III отделения) документ, который теперь сочтен был за главнейшее обвинение против Чернышевского. Это было знаменитое (в своем роде) письмо, будто бы писанное Чернышевским к известному литератору А. Н. Плещееву.

По рассказу В. Костомарова, он вспомнил, что это письмо, будто бы данное ему (конечно, ранее собственного процесса Костомарова, т. е. в 1860 или 1861 гг.) Чернышевским для передачи в Москве Плещееву, но оставшееся непередавленным, было у него заложено в саквояже; оно чудесным образом осталось не открытым во время внимательного обыска, сделанного у Костомарова; сам он об этом письме совсем забыл, а теперь, года через два-три, он извлек его из саквояжа для представления в Сенат.

В Сенате документу придана была, видимо, большая важность: председательствующий сенатор Карниолин-Пинский, держа или положив перед Чернышевским это письмо, многозначительно сказал ему на латинском языке: «oculis, non manibus» (т. е. смотрите глазами, но руками не касайтесь). Чернышевский взглянул на этот документ и на вопросы относительно содержания письма просил Сенат спрашивать не его, Чернышевского, но самого автора этого письма, потому что Чернышевский такого письма вовсе не писал.

Чернышевский в то время рассказывал это родным, которым были разрешены свидания с ним в крепости, шутя, как



о вещи слишком ясной и которая не могла казаться ему ни на минуту опасной. Он скоро должен был разочароваться, потому что, несмотря на категорическое заявление Чернышевского, что это письмо есть наглый и глухой подлог, несмотря на сомнительные отзывы экспертов (выбранных из сенатских же чиновников), Сенат признал подлинность письма.

Как замечено выше, письмо, будто бы писанное Чернышевским к Плещееву, по словам самого Костомарова, не было им Плещееву передано; но понятно, что Плещеева все-таки надо было спросить. Он был вызван в Петербург. В Сенате, по предъявлении ему письма, Плещеев заявил, во-первых, что рукопись хотя вначале похожа на руку Чернышевского, но дальше не похожа совсем, т. е. несомненно подделана, но подделка не выдержана; во-вторых, что содержание письма таково, что ни Чернышевский не мог написать такого письма, ни Плещеев от него получить: оно предполагало между ними такие отношения, каких в действительности не было. В письме была, между прочим, одна фраза, долженствовавшая утвердить Плещеева в сочувствии: «не мы-де с вами пойдем на торгу» — эта фраза, возможно, бессмысленная в устах Чернышевского, обличала склад мыслей поддельщика. Эта бессмысленность не требует объяснения для тех, кто имел какое-нибудь понятие о высоко честном и правдивом характере Чернышевского.

Письмо было такого рода, что из него надо было заключить, что между Чернышевским и Плещеевым было ранее законопреступное соглашение. Если только письмо было подлинное, над Плещеевым должны были быть произведены следствие и суд. Тем не менее Сенат, на основании одного и того же документа, после единственного спора, отпустил Плещеева, но осудил Чернышевского!

Приговор, читанный на площади, говорил о его вредной литературной деятельности, когда сочинения его были разрешаемы цензурой.

Со времени ссылки в Сибирь в 1864 году Чернышевский жил сначала в отдаленной казачьей стоянке Кадае, на границе Монголии, потом короткое время в Александровском заводе в Нерчинском крае, наконец, последние годы в Вилуйске, небольшом городишке Якутской области (9448 верст от С.-Петербурга), на несколько сот верст в сторону от присяжного пути по Лене и в таком захолустье, что за Вилуйск нет уже никуда никаких дорог. Чернышевский только изредка посылал письма к своей семье, изредка получая домашние известия, и затем не имел, да и не мог иметь никакой переписки; письма рассматривались начальством. Не все его письма, обращенные к родным, до них доходили. Несколько книг, один или два журнала, это все, что ему разрешено было иметь. Он был (и есть) так удален от всего света, что горькой иронией было бы думать, что он может иметь какую-нибудь солидарность с тем, что делается в нашем обществе, через десятки лет подобной ссылки. Он не знал даже, как злоупотребляется его имя самозванцами «последователями»; газет до него не доходило; семья не решалась тревожить его совершенно бесплодно, не была уверена, что подобного рода письмо дошло



бы до Чернышевского. Неизвестно, доходили ли до Чернышевского какие-нибудь темные слухи об этом положении вещей но раз до самого Вилюйска дошли затем новейших революционеров (покушение Мышкина), и тогда Чернышевский с негодованием писал жене о людях, злоупотребляющих его именем, и, чтобы дать понять, о чем он говорит, замечал, что, если ему суждено когда-нибудь оставить Вилюйск, он уедет из него не иначе как тем же способом, каким в него приехал.

## БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМ

Николай Гаврилович Чернышевский родился в 1828 г. в Саратове. Отец его протопиерей и благочинный в этом городе — давно уже умерший — был человек, пользовавшийся общим уважением как человек религиозный, образованный и высоких нравственных правил. От отца Чернышевский унаследовал свойства характера — строгую нравственную требовательность к самому себе и чрезвычайно мягкую доброту, что привязывало к нему всех, его близко знавших. Чернышевский учился сначала дома, у отца, пробыл года два в старших курсах саратовской семинарии, затем, в 1847—1850 гг. учился в Петербургском университете. Окончив здесь курс, он был учителем русского языка сначала в Петербурге, потом в Саратове. Женившись здесь в 1853 г., Чернышевский переехал в Петербург и занялся литературой. Он участвовал в журналах «Отечественные записки» и «Современник», затем исключительно в последнем: вместе с Некрасовым Чернышевский был главным руководителем этого журнала, в котором собраны были тогда лучшие литературные силы, как Тургенев, граф Л. Н. Толстой, Салтыков и др. Даровитейший молодой критик того времени, сохраняющий доныне большую известность. Добролюбов был в полном смысле слова только учеником Чернышевского.

В 1862 г. Чернышевский был арестован (в июне) по какому-то темному доносу, для которого потом не нашлось фактических оснований и который был делом интриги со стороны врагов Чернышевского по взглядам на крестьянскую реформу. Процесс, в котором Чернышевский **один** был обвиняемым, хотя обвинение говорило о деле, требовавшем соучастников, — процесс длился два года, в течение которых Чернышевский пробыл в одиночном заключении в Петропавловской крепости. Осужденный в мае 1864 г. на семь лет каторжной работы и поселение, Чернышевский первое время ссылки провел в казачьей станице Кадае, на монгольской границе, в дикой пустыне, потом короткое время на Александровском заводе близ Нерчинска, наконец, переведен в город Вилюйск, Якутской области, на крайнем суровом севере, в месяце езды от Иркутска: здесь он проводит последние долгие годы, вдали от какой-нибудь цивилизованной жизни, содержимый с крайнею отяготительною строгостью.

Семейство Чернышевского, жена и двое детей, осталось в России; детям надо было учиться: старший сын, при ссылке отца, был 10 лет, младший по 7-му году. В первые годы у

семейства оставались еще некоторые средства от трудов Чернышевского, но они уже скоро истощились; дети во время ученья в Петербурге были на руках родственников. Издание сочинений Чернышевского, которое могло бы вполне обеспечить семейство его, было запрещено.

В настоящее время Чернышевский живет в Виллойске, кроме семейства и родных, всеми забытый и покинутый и — болезненный. Единственная его забота — его семья, для которой он лишен возможности даже что-нибудь работать. По слухам, которые подтверждаются и содержанием его редких писем к семье, он переносит свое несчастье с глубоким самоотречением; он отказывается решительно от присылки ему каких-либо вещей и небольших денег (видимо, чтоб не отнять их у семьи), утверждая, что живет со всеми удобствами и ни в чем не нуждается, — лишь бы семья его была здорова и не нуждалась.

## СВЕДЕНИЯ О СЕМЕЙСТВЕ И ПОЛОЖЕНИИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

1. Николай Гаврилович Чернышевский имеет ныне от роду 55 лет. Жена его, Ольга Сократовна, — 48 лет. Дети, сын Александр — 29 и Михаил — 23 года.

2. Чернышевский был арестован в июне 1862 г., пробыл два года в одиночном заключении в Петропавловской крепости; в мае 1864 г. приговорен к семи годам каторжной работы и затем поселению. Тогда же был выслан из Петербурга.

3. Ссылку Чернышевский отбывал сначала в Забайкальской области, в казачьей станице Кадае, на монгольской границе; затем, короткое время, на Александровском заводе близ Нерчинска; наконец, последние годы, он живет в уездном городе Виллойске, Якутской области.

4. О состоянии своего здоровья Чернышевский своей жене сообщает обыкновенно самые удовлетворительные известия, для ее успокоения; но, по давним слухам, его здоровье очень пострадало, и в письмах к другим родственникам, на их вопросы, он признал свое болезненное состояние и просил о высылке лечебника и лекарств (хины). Знающие врачи, которым родственники Чернышевского сообщали описанные им симптомы болезненности, нашли в них тяжелую форму общего ревматизма, советовали хинин (который и был Чернышевскому неоднократно посылаем), но не видели надежды на излечение без перемены климата и условий жизни.

5. Жена Чернышевского проживает на родине, в г. Саратове; сыновья — в Петербурге. Единственное имущество семейства — небольшой деревянный дом в Саратове. Средством существования были в прежние годы — небольшой доход (ныне кончившийся) от переведенных некогда Чернышевским книг: «Политическая экономия» Милля и «История восемнадцатого столетия» Шлоссера. Семейство Чернышевского могло бы существовать принадлежащею ему по закону литературною собственностью, т. е. изданием сочинений Чернышевского (печатавшихся в пятидесятых и шестидесятых годах



под предварительною цензурою); но и этой собственности семейство Чернышевского было лишено вследствие распоряжения 1871 г., запретившего (совсем по другому поводу) печатание сочинений политических преступников и распространение на сочинения Чернышевского, хотя последние печатались всегда под цензурой и большею частью касаются предметов чисто литературных, а не политических. В то же время, собственность семейства Чернышевского расхищается контрафакцией, т. е. воровским печатанием его сочинений за границей. В настоящее время семейство Чернышевского не имеет никаких средств к существованию. Старший сын занимается частными уроками по математике и продолжает научные занятия этим предметом; теперь уроков не имеет; к получению места в казенных заведениях встречал постоянные препятствия — надо полагать, вследствие своей фамилии. Младший сын, Михаил, состоит студентом в университете, по историко-филологическому факультету.

Январь, 1883.


## О ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРУДАХ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Деятельность Чернышевского в литературе пятидесятых и начала шестидесятых годов составит некогда предмет особенного внимания историка — как пример богатого дарования, разнообразия трудов и проникающей эти труды глубокой преданности благу своего отечества.

Эта деятельность была кратковременна, но чрезвычайно обильна и разностороння. Получив основательное классическое и философское образование, Чернышевский владеет обширными сведениями по разным отраслям знания. Первым планом его была карьера ученой, и в 1855 г. он защищал магистерскую диссертацию «Об эстетических отношениях искусства к действительности». Эта небольшая книжка излагала основания новой теории искусства, которая в настоящее время получает влияние и в европейской литературе. Диссертация Чернышевского была философским, теоретическим выражением того направления к реальному изображению жизни, которое все больше возрастало в русской литературе, а наконец и в русском искусстве. Новейшие критики нашего искусства вспоминают о диссертации Чернышевского.

Обстоятельства не позволили Чернышевскому остаться на ученом поприще, и он, обратившись к журнальной деятельности, с первых своих шагов на этом новом поприще занял видное место в литературе как критик первостепенной силы, какого еще не было после Белинского. Богатство знаний, меткость суждений, живость и остроумие скоро дали ему обширную известность. Множество его крупных и мелких критических статей наполняет пятидесятые годы «Современника». Для примера упомянем из относящихся сюда сочинений его ряд статей о Пушкине — один из первых образчиков новейшей историко-литературной критики; ряд статей о «Гоголевском периоде русской литературы»; из старых времен — о Державине, из новейших — о сочинениях гр. Л. Н. Толстого.





Салтыкова, Островского. Ценность его литературных трудов возвышалась тем, что в основе их лежало серьезное философское образование, которое становится так редким. На философских изучениях основана была и его литературная критика, и позднейшие труды по политико-экономическим предметам.


Это были последние годы царствования императора Николая Павловича и первые годы прошлого царствования. Велась Крымская война, ход которой глубоко занимал умы. Чернышевский делил горячее патриотическое чувство, овладевшее обществом, и, чтобы дать ему выражение, подал мысль редакции «Современника» просить о разрешении помещать в журнале военные известия, что до тех пор ограничено было лишь официальными изданиями. При «Современнике» появилась хроника военных действий, и в журнале печатались знаменитые «Севастопольские рассказы» гр. Л. Н. Толстого.

Несмотря на тяжкую войну, первые годы прошлого царствования были временем чрезвычайного, давно невиданного оживления общества; мягкие действия новой власти, амнистии, возвратившие в общество престарелых декабристов и молодых писателей (в числе их был Достоевский), ожидание реформ, предположенных правительством, одушевили общество самыми светлыми надеждами. Литература, также освобожденная от многих стеснений прежнего режима, совершенно изменила свой вид и проникнута была желанием послужить всеми силами целям, поставленным верховной властью; Чернышевский был одним из тех писателей, которые с наибольшим энтузиазмом делили ожидания общества и готовили его к уразумению преобразований. Он положил в это дело свою душу.

Работы было без конца. В то время журналам впервые было разрешено помещение статей по внешней и внутренней политике, и Чернышевский с тех пор исключительно отдался публицистической деятельности — писал статьи по европейской истории и политике, издал по-русски многотомную «Историю восемнадцатого столетия» знаменитого Шлоссера, перевел известные «Основания Политической Экономии» Стюарта Милля и составил к ним собственные дополнения, замечательный труд, который оценен был и в европейской литературе и переведен был на французский язык.

Но основным интересом Чернышевского была крестьянская реформа — величайшее событие во внутренней истории русского народа со времен Петра Великого. Чернышевский посвятил крестьянскому вопросу самое внимательное, неутомимое исследование — в том самом смысле, в каком реформа, собственно, предполагалась самою властью, а именно: с возможным обеспечением будущности народного хозяйства.

В крестьянской реформе шел вопрос о всей будущности русского крестьянского рода, но, с другой стороны, она затрагивала имущественные интересы дворянства и грозила ему потерями. В обществе и в самой высшей администрации образовались две враждебные партии, борющиеся и явно, и скрытно. Чернышевский, тогда уже очень известный и влиятельный писатель, ничего не уступавший из своего убеждения в вели-



ком национальном значении реформы, но человек кабинетный, характер правдивый и открытый, не знающий закулисной интриги и бессильный против нее, сделался жертвой интриги и доноса. Главных пунктов, которые Чернышевский горячо защищал в тогдашних публицистических спорах, было два: достаточное определение крестьянского земельного надела (противная партия стремилась сколько можно уменьшить его) и охранение сельской общины (противная партия искала ее уничтожения, чтобы из обедневших крестьян явились дешевые рабочие, батраки). Будущий историк крестьянского вопроса отметил факт, что Чернышевский в трудах своих по этому предмету защищал взгляд, верность которого через двадцать лет доказана самой действительностью: наделы, принятые тогда, теперь уже признаны недостаточными, и власть нашла нужным идти на помощь крестьянскому обеднению; сохранение сельской общины есть ныне предмет глубокого убеждения для лучших теоретических и практических знатоков крестьянского быта.

Во время пребывания в крепости Чернышевский написал роман и передал для напечатания — чтобы доставить средства существования своему семейству. Роман был напечатан — с разрешения III отделения Собств. Е. И. В. Канцелярии и предварительной цензуры: это одно обстоятельство могло бы достаточно опровергать те злостные обвинения, каким этот роман впоследствии подвергнулся. Роман, написанный в двухгодичном одиночном заключении, чем может быть как не делом фантазии? И самим автором, который и не был по призванию романист, он предлагается именно как чистая фантазия — наподобие тех произведений, какие не один раз являлись в европейской литературе и даже в нашей (есть подобный рассказ князя В. Ф. Одоевского) и загадывали, что будет происходить в человечестве в XXV или в XXX столетии. И главная характеристика Чернышевского заключается не в фантастическом романе, писанном в одиночном заключении, а в его замечательных трудах историко-литературных и в политико-экономических исследованиях по крестьянскому вопросу: эти труды составляют его историческую заслугу, делают его одним из замечательнейших писателей всей новейшей русской литературы.



Гизо НИШНИАНИДЗЕ

# МАЛЕНЬКИЙ ЭПИЗОД ИЗ БОЛЬШОЙ БИОГРАФИИ

Ярко освещенная, утопающая в цветах сцена актового зала Тбилисского государственного университета.

В юбилейном кресле очень неуютно чувствует себя седой человек, выслушивая в свой адрес приветственные речи в связи с семидесятилетием. Говорят много прекрасных слов — о замечательном ученом, посвятившем жизнь служению науке, талантливом педагоге — воспитателе надежной смены, упоминаются все вехи его большого жизненного пути: старшее поколение помнит его как комсомольского работника, первого редактора молодежной газеты «Ахалгазрда коммунисти» («Молодой коммунист»), министра просвещения Грузинской ССР, ректора Тбилисского государственного университета. Сейчас чествуют большого ученого Виктора Дмитриевича Купрадзе, академика, секретаря Отделения математики и физики Академии наук Грузинской ССР, разработавшего новые математические методы для исследования пространственных задач теорий упругости и термоупругости, создавшего труды, принесшие ему мировую славу, — «Основные задачи математической теории упругости», «Методы потенциалов теории упругости», «Динамические проблемы теории упругости» и др.

Приветствиям нет конца. С каких только точек земного шара не поступили поздравления. Юбилейные вечера удивительно похожи друг на друга, а за плечами всех юбиляров совершенно разные, ничуть не схожие друг с другом жизни и судьбы.

Председатель юбилейного вечера объявляет очередного выступающего.

— Слово имеет...—И вдруг запнулся. Пауза была довольно долгой, а зал напряженно ждал.

— ...Дорогие товарищи, дорогой профессор, — повернулся он лицом к юбиляру, — разрешите мне предоставить слово человеку, с которым нас сейчас разделяет расстояние в несколько тысяч километров.



Комитет телевидения и радиовещания при Совете Министров Грузинской ССР из Германской Демократической Республики получил магнито пленку с этой записью.

Юбиляр поднял голову и внимательно прислушался к зазвучавшей вдруг немецкой речи:

«Здравствуйте, уважаемый товарищ и друг Виктор Купрадзе! Вас, конечно, очень удивит, что в день Вашего 70-летия по Грузинскому радио Вы услышите мой голос.

Я и все, кто готовил эту передачу, глубоко убеждены, что для Вас это будет приятным сюрпризом.

Искренне благодарим работников радиовещания Германской Демократической Республики и Грузии за то, что они предоставили мне возможность в этот день донести свой голос до Вас.

Не узнали? Разрешите представиться: я — Отто Тречер, из Берлина... Тот самый немецкий коммунист, который 29 декабря 1941 года в Феодосии перешел на сторону Красной Армии и которому посчастливилось на Южном фронте в городе Керчи познакомиться с Вами и проникнуться к Вам глубоким уважением.

Разрешите, дорогой Виктор Дмитриевич, вкратце рассказать советским товарищам, в какой обстановке это произошло.

С января до мая 1942 года я, Отто Тречер, немецкий коммунист, находился в рядах Советской Армии и, как человек, которому оказали большую честь и доверие, всячески старался оправдать доверие Краснодарского областного комитета партии.

Именно здесь меня свела судьба с коммунистом, офицером Красной Армии, товарищем Виктором Купрадзе, с которым мне пришлось работать.

Да, тяжелые были дни для советского народа, но, верьте, и нам, немецким коммунистам, пришлось очень нелегко. Наша партия воспитывала в нас чувство любви и солидарности к советскому народу, Союзу Советских Социалистических Республик, в котором мы видели истинную родину всех трудящихся мира и защиту которого от империалистической агрессии мы считали священным долгом каждого интернационалиста. Я всегда чувствовал, с какой любовью советские люди произносили имя Эрнста Тельмана, как они хорошо знали и глубоко уважали великие боевые и революционные традиции рабочего класса Германии и своей Родины.

Наше сотрудничество основывалось на истинно человеческом, дружеском духе, который объединял с первого же дня лучших сынов и патриотов немецкого народа с первым в мире рабоче-крестьянским государством.

Но в ту пору советским людям, которые были свидетелями зверств гитлеровцев и бесчеловечных противозаконных актов фашистов, было трудно отличить фашиста от честного немца.

...И разве я могу забыть, когда в таких условиях большинство советских людей и особенно наш боевой товарищ Купрадзе относились к нам чутко, по-дружески.

...Это было прекрасное содружество, которое закрепило

мое решение — любой ценой оправдать доверие советского народа.

Виктор Купрадзе стал для меня примером пламенного патриота своей Родины, советского интеллигента, стойкого, умного коммуниста и интернационалиста.

С тех пор прошел 31 год, социализм превратился в мировую систему и в решающую силу развития всего человечества. В центре Европы существует и изо дня в день укрепляется взошедшее на немецкой почве первое рабоче-крестьянское государство — Германская Демократическая Республика.

За истекшее время трудящиеся нашей страны под руководством партии рабочего класса достигли больших успехов. Наша партия главным в своей политической, идеологической работе поставила вопрос воспитания наших людей в духе дружбы с Советским Союзом. И порукой тому, что сегодня позиция нашего социалистического государства на мировой арене так непоколебима, — дружба с СССР и другими социалистическими странами. Именно в этом — главный источник всех наших достижений, на этом строится наше будущее.

Немецкий народ и рабочий класс Германии никогда не забудут, что Германская Демократическая Республика возникла в результате победы славной Красной Армии над гитлеровской Германией. Из поколения в поколение будет передаваться и жить в сознании истина, что справедливость восторжествовала ценою крови советского народа и в дружной социалистической семье процветает вместе с другими странами социалистического лагеря Германская Демократическая Республика.

Рабочий класс ГДР и весь наш народ будут свято хранить и беречь как зеницу ока дружбу с народом Советского Союза. Это для нас, кроме всего прочего, историческая, моральная обязанность, мы глубоко ценим солидарность и жертву, принесенную нам другими народами.

Я и моя семья всегда будем благодарны советским людям. Именно они дали моему отцу политическое убежище как коммунисту-эмигранту. Именно Советская Армия освободила мою мать от фашистской неволи. Для меня же годы, прожитые в СССР, — самый большой жизненный университет.

Я благословляю тот счастливый день, когда познакомился с Вами, дорогой Виктор Дмитриевич. Вы относитесь к числу тех людей, личный пример, стойкий характер и непоколебимая вера в человека которого имели решающее влияние на мою жизнь.

Я счастлив, что именно сегодня мне предоставляется возможность за все то, что Вы для меня сделали, за все, чему Вы меня научили, сказать Вам сердечное спасибо!

У Вас большие заслуги в укреплении дружбы советского и немецкого народов.

...А теперь о себе. Честь имею доложить: скоро буду отмечать сорокалетие пребывания в рядах партии; шестнадцатый год пошел, как несущую трудную, но почетную политическую



службу. Последние пять лет руковожу сектором ЦК партии; вместе с тем уже 21 год являюсь офицером Вооруженных сил ГДР... Докладывает полковник Отто Тречер

У меня четверо детей: два мальчика и две девочки.  
Дорогой профессор Виктор Дмитриевич!

Для меня большое счастье получить возможность поздравить Вас со славным юбилеем — 70-летием. Примите от меня и от членов моей семьи самые добрые пожелания.

Я убежден, что наше неожиданное поздравление доставит Вам радость.

В эту торжественную минуту в Берлине мы поднимаем бокалы за Вас и желаем здоровья, дальнейших успехов в Вашей большой деятельности, долгих лет с Вашей прекрасной семьей и друзьями.

Юбиляру наше трехкратное — ура, ура, ура!

Крепко жму Вашу руку, обнимаю, целую.

С дружеским приветом

Ваш Отто Тречер».

Когда я увидел слушавшего эту речь удивленного, счастливого, покрасневшего как ребенок, неловко чувствовавшего себя в кресле юбиляра, то понял, что судьба этого бывшего солдата вермахта, простого немецкого парня, даже спустя три десятилетия, немало взволновала Виктора Дмитриевича.

И вот я уже у него дома, в его рабочем кабинете. Здесь все дышит наукой... Но даже более чем через тридцать лет после окончания Великой Отечественной войны я без труда обнаружил ее следы. Среди других — фарфоровое изображение рейхстага. Спустя 31 год после окончания войны его преподнес воину Красной Армии, руководителю советской газеты «Золдатен Ваархайд», выходившей на немецком языке (органа 7-го отдела Закавказского фронта), бывший сотрудник, проживающий ныне в ГДР, полковник Отто Тречер.

Виктор Дмитриевич поведал мне историю, не требующую прикрас.

— Это был конец декабря 1941 года, — начал свой рассказ Виктор Дмитриевич. — Новый год встречали боем — это было кровавое рождество.

Я был ответственным секретарем газеты «Золдатен Ваархайд», и нашей задачей было сделать ее подлинно боевым органом, способным путем убеждения освободить немецких солдат от давления фашистской идеологии. Для правильной ориентации газеты необходимо было изучить психологию противника, реакцию немецкого читателя.

Я попросил политуправление и штаб фронта при первом же удобном случае предоставить нам возможность работать с военнопленными.

Несмотря на всевозможное содействие, которое редакция всегда чувствовала со стороны начальства, в создавшейся боевой обстановке нашу просьбу долгое время не удавалось удовлетворить. Найти надежного и нужного немца в этой неразберихе было не так просто.

Клочок керченской земли переходил из рук в руки.



Шли кровопролитные бои. В секунды решались человеческие судьбы. Где же найти время изучать людей? Но человека надо было узнать, надо было ему поверить, поручиться за него и нести ответственность!

Однажды нам, наконец, сообщили, что нашелся вроде бы такой немец, который нужен для работы в редакции.

Я на двухместном самолете срочно вылетел в штаб армии. Мы летели, а рядом с нами в небе шли ожесточенные воздушные бои: Но мы как будто и не замечали того, что происходило вокруг нас. Сейчас мне кажется, что это был кошмарный сон. Мне представили здорового немецкого парня лет 17 — 18, а может, и того не было. Вряд ли он уже достиг призывного возраста, но держался с мужским достоинством, изо всех сил стараясь не выдать страха и растерянности, пытаюсь доказать свою солидарность с советскими солдатами, свою непричастность к фашистской армии. Ему не верили. Немец убеждал, что он не «Гитлерюгенд», он сын коммуниста и честный немец.

Под вечер наш двухместный самолет улетел обратно с третьим — лишним для машины, но очень нужным для редакции молодым человеком — немецким парнем, принятым на веру.

Посадить его было негде, и он летел, стоя позади меня. Трудно передать, что творилось в наших сердцах в эту темную и страшную ночь.

Представьте себе — фронтовая полоса, в воздухе мы троим: два советских воина и один немецкий солдат. Даже в условиях войны, я бы сказал, «компания» необычная.

Стало холодно. Пилот, изолированный от нас в своей кабине, не так сильно ощущал приток холодного воздуха, а мы мерзли. Окоченели руки, ноги... Но так не хотелось выдать себя и проявить перед ним, немецким мальчишкой, свои ужасные ощущения. А этому проклятому полету, казалось, не будет конца.

Вдруг я почувствовал, что немец обнял меня за плечи. Честно говоря, я испугался. Вздрыгнул, резко повернулся к нему, но тут же понял, что мои опасения были напрасны. Немецкий парнишка снял с себя шинель и пытался накинуть ее на меня.

Я растерялся, не знал, как поступить, но тут же взял себя в руки и довольно грубо приказал:

— Отставить!

В той бесчеловечной войне были непонятны подобные сентименты, и вообще, кто знает, что это за гусь. Время покажет. Самая большая честь, которую ему можно было оказать в этих сложных условиях, уже была оказана — доверие. Но молодой немец явно располагал к себе, и мне хотелось ему верить, хоть это и было сопряжено с риском. Но если и стоит рисковать жизнью, то хотя бы за нечто равноценное — за жизнь человека, за любовь, дружбу... И мне тогда показалось, что это был именно тот случай...

...С января до мая 1942 года Отто Тречер активно работал в «Золдатен Ваархайт» и наконец стал совсем своим. Его пребывание в редакции, в прифронтовой полосе, уже не вы-

зывало тревогу даже среди тех, кто сначала никак не оправдывал эту затею, считая ее слишком опасной и рискованной, «от которой ничего хорошего нельзя ожидать».

Прошло немного времени, и на этом участке фронта создавалась исключительно сложная военная обстановка. Военная конъюнктура не дала возможности советским людям, да и самому ответственному секретарю газеты «Золдатен Ваархайт» В. Д. Купрадзе до конца убедиться в классовой солидарности этого немецкого парня. Но за этот период он успел привыкнуть к немецкому мальчишке как к родному сыну, и военный журналист, руководитель немецкой газеты, уже явно чувствовал, что к судьбе этого парня он не может оставаться равнодушным.

...Началось большое наступление немецких войск.

Поступил приказ — уничтожить редакцию, типографию и отойти на новый рубеж.

Газета «Золдатен Ваархайт» прекратила существование.

— Так разошлись наши фронтовые пути с этим немецким парнишкой, судьба которого, как я уже говорил, явно волновала мое сердце, — продолжает свой рассказ бывший ответственный секретарь газеты. — Выжил ли, уцелел ли? — думал я все время. Да и я сам чудом остался в живых.

Кончилась война. Но вот через много лет грузинская республиканская партийная газета «Комунисти» опубликовала под рубрикой «Эхо тех бурных дней» материал журналистки Гульнары Аробелидзе под заголовком «Адрес точен».

«Виктор Купрадзе был директором Института математики, — говорится в статье. — когда началась Отечественная война. Вся наша страна поднялась против врага...

...Вместе с Виктором Купрадзе военные шинели надели сотрудники университета и других высших учебных заведений — Вахтанг Куправа, Михаил Квеселава, Гиви Жвания, Савле Церетели, Владимир Мачавариани и другие. Все они имели «бронь», но никто из них ею не воспользовался. Отдел, в котором начал служить Виктор Купрадзе, ставил себе целью — развернуть идейно-политическую работу среди войск противника. Для них выходила газета «Золдатен Ваархайт», распространявшая информационные и агитационные листки, которые знакомили солдат противника с правдой о войне.

..В слепую ночь 25 декабря 1941 г. караван военных, десантных кораблей незаметно вышел в море и взял курс к Керченскому полуострову. Фашисты поздно заметили приближение десанта... Враг не выдержал натиска. Невзирая на сокрушающий огонь, на снегопад и мороз, десант смог высадиться на полуостров. В него входила и та часть, в которой служил Виктор Купрадзе...

Фашисты набирали силы к весне. Вот и май. В небе все чаще появлялись немецкие воздушные разведчики «Фокке-вульфы». В конце мая началось наступление немцев. Часть, где находился Виктор Дмитриевич Купрадзе, попала в окружение и была вынуждена «провалиться» — скрыться под землей в самом прямом смысле этого слова. Сначала в подземелье горы Митридатской, потом в пещере Камыш-Буруна, а в конце концов в известных катакомбах Аджи-Мушкая.



Координация фронта была нарушена.

Стало быть, понятно, что это означает — конец. Однако история известен до тончайших деталей финал этой трагедии.

А рассказ, связанный с историей «Золдатен Ваархайт» и прерванный войной в мае 1942 г., продолжается и в наши дни.

Академика Виктора Дмитриевича Купрадзе избрали председателем Общества дружбы Грузинской ССР с Германской Демократической Республики, и сообщение об этом, естественно, появилось в немецких газетах.

И тогда в Грузию пришло письмо из Германии.

«...Тбилиси. Академия наук Груз. ССР

Профессору Виктору Купрадзе.

В наших газетах было опубликовано сообщение о том, что в Грузии учреждено Общество дружбы Грузинской ССР и Германской Демократической Республики. Ее председателем избран Виктор Купрадзе.

Я спешу обратиться к Вам с этим письмом, поскольку 25 лет тому назад в тяжелейших условиях свирепствующей войны я встретился с одним советским человеком, которого звали Виктор Купрадзе и который в моей жизни сыграл большую роль.

Тот человек в тогдашних условиях ненависти и ожесточенной вражды с удивительной прозорливостью смог отличить фашиста от истинного немца, от оскорбленного и измененного фашизмом патриота Германии. Это решило мою дальнейшую судьбу. Я не знаю пока, с кем имею честь говорить, но хочу твердо верить, что тот человек — это Вы, т. к. на пост председателя Общества дружбы Германской Демократической Республики и Грузинской ССР более подходящей кандидатуры нет.

Отто Тречер».

...Отто Тречер! Ваш адрес точен! Человек, который в те суровые дни сыграл такую большую роль в Вашей жизни... выдающийся ученый Виктор Купрадзе»<sup>1</sup>.

«Мой дорогой Виктор Дмитриевич!


Вы, верно, представляете, как обрадовало меня Ваше письмо... Когда проходит больше, чем год, в ожидании письма друга, поверьте мне, больше о нем думаешь... Нас же судьба свела на всю жизнь. Я уверен, что Вы того же мнения.

После того, как Вы побывали в Германской Демократической Республике, после наших встреч, бесед в Карл-Маркштадте, в Гере и в Берлине, спустя почти 30 лет, наша дружба получила новые импульсы...

Дорогой Виктор Дмитриевич! Я был очень рад иметь возможность приветствовать Вас по радио в связи с 70-летием. Это был сюрприз. Сейчас я могу выдать этот секрет. Это случилось так: в один прекрасный день в Центральный Комитет ко мне позвонили из Берлинского радио и сообщили мне, что один наш товарищ недавно побывал в Тбилиси, где во время беседы один из редакторов Грузинского радиовеща-

<sup>1</sup> Газета «Коммунисти», 4.VIII.1968 (№ 18).





ния спросила его, не знает ли он меня. Именно она и рассказала о наших отношениях и сообщила своему немецкому коллеге, что 2 ноября 1973 г. Вам исполняется 70 лет? Немецкого гостя попросили передать мне обо всем. Таким образом мне была предоставлена возможность поздравить Вас с этой датой. Конечно, очень приятная была миссия, но мне бы хотелось сесть в самолет и лично присутствовать на этом празднике.

От Михаила Озарана же (тот самый немец, который гостил в Тбилиси. — Н. Г.) я узнал, что Вы вкратце написали о нашей совместной работе на фронте. Несколько дней тому назад он прислал нам «Курортную газету», в которой в связи с 29-летием Победы напечатано интервью с Вами. Озаран экземпляр газеты послал в Тбилиси. Смотрели ли Вы?

Говоря по правде, тут столько похвал за то, что я успел сделать на войне, большая честь для меня. Досадно, однако, то, что никаких документов моей фронтовой деятельности у меня не сохранилось. Осталось только фото, где я снят в форме воина Советской Армии, а также шинель и военная фуражка со звездочкой.

В сентябре я и моя жена были в Ленинграде. Это были незабываемые дни.

Дорогой Виктор Дмитриевич!

Очень хочу как можно скорее встретиться, потому позволяю себе предложить интересную идею: 7 октября мы празднуем годовщину Германской Демократической Республики. Подумайте, а может, смогли бы Вы приехать к этому торжеству в Берлин. Вся наша семья была бы счастлива принять Вас с сурругой. Тогда я с таким расчетом взял бы отпуск, чтобы 2—3 недели посвятить Вам.

Убежден — это и для Вас было бы незабываемым. Никакой официальности, никаких протоколов, никаких общественных нагрузок, церемоний, безо всякой помпезности, а просто отдых с нами вместе, с нашей семьей. Можем на нашей машине объездить все достопримечательности страны.

Вы, несмотря на Ваши 70 лет, настолько молоды и полны жизни, что имеете право разрешить себе такое путешествие...

...Я тоже обещаю приехать в Тбилиси в будущем году...

...Если бы Вы знали, с какой радостью жду сообщения: «Мы приезжаем такого-то числа».

Дорогой Виктор Дмитриевич!

Я хочу надеяться, что Вы примете мое предложение. Было бы неплохо, если бы Вы приехали вместе со своей семьей. Наш дом всех вместит.

Вот так, дорогой Виктор Дмитриевич. На сегодня все. Отто Тречер».

На сегодня все...

А старая и добрая фронтовая дружба продолжается... Еще одна не написанная страница истории Великой Отечественной войны.

Виктор ПЕРЦОВ


# МОЙ БЕСО

Один из самых удивительных поэтов нашего века, к произведениям и вообще к художественному опыту которого мы все чаще и все более заинтересованно возвращаемся, — Александр Блок, в свое время очень точно сказал: «Ничего «утомительней» писательской жизни и быть не может», объясняя этот свой вывод так: «нет ни минуты покоя, вечно на первом плане — «раздражительная способность жить высшими интересами» (слова Ап. Григорьева).



Это высказывание было вызвано обстоятельствами начала нашего века, которые ныне начисто ушли в небытие. И тем не менее признание особой обостренности переживаний каждого, сколько-нибудь по-настоящему творческого участника литературной жизни, чувствующего и свою долю ответственности за литературное дело, полностью относится и к нашей эпохе создания нового общества и новой советской литературы. А потому особая потребность иметь в литературе та-





кого друга, которому одному можно доверить и проверить на нем то, что только потом скажешь всем, такая потребность далеко не всегда может найти свое удовлетворение. У меня такой друг был — Бесо Жгенти. Слово, мнение, отношение настоящего друга к твоей творческой работе, к твоей позиции в литературе были прямой необходимостью в тот ранний период, когда советская литература только делала свои первые шаги...


Мой Бесо и был для меня одним из тех незабываемых друзей, который помог мне понять многое в искусстве слова как национальном достоянии. Я встретил его в Москве, в литературной среде около Маяковского. Жгенти считался в Грузии сторонником ЛЕФа. Но это было лишь условностью литературной жизни тех лет. А главное и настоящее в «лефовстве» Бесо Жгенти было в том, что он любил и понимал значение Маяковского, как немногие в те годы. Для Жгенти Маяковский был к тому же и земляком. Я слышал, как в общей беседе они обменивались репликами по-грузински, оба взрывались смехом, как бы уединяясь в шумном неистовстве литературных споров.

Сблизившись с Бесо, я почувствовал Грузию и в Маяковском, тот «радостный край» детства, о котором великий русский поэт сказал с такой любовью в своем стихотворении. Побывав, по его следам, в Грузии, и я ощутил и пережил прелесть этого края и чудесного народа нашей многонациональной Советской страны, а потом и прикоснулся к пониманию творчества многих замечательных грузинских поэтов современности и прошлого.

Преимущество Бесо передо мной, конечно, в то время было в том, что о русской литературе, которую он знал в оригинале, он мог судить уверенно, оценивая самые тонкие художественные оттенки языка, а я знакомился с грузинской поэзией только в русских переводах. Бесо пытался научить меня хотя бы отдельным грузинским выражениям и даже читать, но для меня грузинский алфавит был и, к сожалению, остался заманчивой страной загадочных знаков... То было время, когда едва ли не самые замечательные русские поэты старшего поколения увлеклись грузинской поэзией и в своих переводах открыли русскому читателю ее творческую сокровищницу...

За русской литературой Бесо следил неотрывно, знал хорошо нашу великую классику, как и творения мировой литературы. Живое общение с ним мне давало очень много, углубляло понимание и ее, и наших новых художественных задач. Для него русская литература была столь же своей и родной, как и грузинская. В литературных исканиях тех лет, когда еще ничего не устоялось, Бесо и стал для меня тем другом, который разделял со мной попытки современных оценок ее истинно художественных достижений, важных для воспитания людей социалистического общества. Нечего и говорить о том, что он помог мне приблизиться к пониманию особенностей грузинской эстетики и того обогащения ее, которое внесли в нее советская эпоха, Октябрьская революция.





Русскую литературу, как и грузинскую, он любил страстно. Мы не раз встречались с ним на дискуссиях в Москве в Институте мировой литературы Академии наук СССР. В своих выступлениях Жгенти умел захватить аудиторию и постановкой проблем, и своим искусством оратора. Помню одно обсуждение проспекта истории советской литературы, где был затронут, в частности, и вопрос о развитии языков национальных литератур. У одного из выступавших, может быть, из-за не очень удачной формулировки, получилось так, что русский язык как средство межнационального общения станет и языком художественных произведений в национальных республиках. Нужно было присутствовать на этой дискуссии, чтобы почувствовать, с какой любовью и уважением говорил Бесо о значении русской литературы и языка для развития национальных литератур и языков всех советских народов. Бесо несколько не отрицал возможности для национальных писателей создавать свои произведения и на русском языке, но с каким полемическим жаром заявил он, что не за счет забвения родного языка и отказа от создания на нем новых творческих шедевров. Помню и его реплику, вызвавшую смех, что «великий русский язык — не эсперанто»...

Как и у каждого из нас, пишущих, у Бесо были свои вкусы. Он предпочитал одного художника слова другому и доказывал, обосновывал очень интересно мотивы своего предпочтения одного хорошего писателя другому, хотя оба вполне укладывались в знаменитую формулу: «чтоб больше поэтов, хороших и разных»...

Очень любил и не раз повторял строфу Тициана Табидзе, отвечавшего Маяковскому:

**Ты нам не должен. И рады Багдады,  
Что к грозной лире твоей одну  
Накрепко прикрутили когда-то  
Поющую по-грузински струну.**

Как-то, после моего возвращения из Парижа, мы встретились с Бесо, и он спросил меня: — Ну, кем ты там был, медведем или человеком? — И, заметив недоумение на моем лице, рассказал случай с Маяковским в Париже. Поэт, как известно, очень интересовался новым в живописи. И не преминул посетить в Париже выставку картин. Его огромная фигура была заметна среди не очень многих пришедших на выставку. И вот он вошел в один из больших залов. Там оказались только две какие-то дамы. Появление Маяковского привлекло их внимание, и одна из них с улыбкой сказала другой: — Вошел медведь! — Сказала достаточно громко, уверенная, что будет понята только своей собеседницей. Маяковский подошел, любезно поклонился дамам и, обратившись к говорившей, подчеркнуто мягко поправил ее на том же грузинском языке, на каком высказано было определение в его адрес: — Вошел человек! — Бесо гордился памятью о Грузии, которую на всю жизнь сохранил Маяковский.

Величие Галактиона Табидзе и его своеобразие, которое даже в прекрасных переводах русских поэтов не всегда уда-

ется уловить, я полнее почувствовал в замечательно тонких пояснениях, которые любовно старался дать мне Бесо. Он был человеком, уважающим мнение, расходуя свое его художественным вкусом, и всегда старался проникнуть в то, что в произведении писателя-современника не было ему по душе.

В этом я вижу и проявление того, что он был человеком добрым, внимательным к людям. Он хотел видеть лучшее в человеке, то хорошее и значительное, что могло в нем вырасти. И поэтому вокруг него всегда было много людей. А сам Бесо, с его любовью к литературе и своими большими знаниями, с захватывающим интересом к московским литературным спорам, к истинным, иногда подспудным мотивам сложной литературной жизни советской столицы, являлся для меня как бы непосредственным живым воплощением многонациональности советской литературы, той новой исторической общности, которая с такой закономерностью сложилась между народами СССР.

Как не хватает теперь нам Бесо Жгенти, настоящего человека-друга, не только в Тбилиси, но и в Москве!

Гурам ГВЕРДЦИТЕЛИ,  
 Рамаз ГВЕРДЦИТЕЛИ

# СОЮЗНИК ИЛИ СОПЕРНИК?

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ  
 ЗАМЕТКИ ПО  
 ПОВОДУ  
 •  
 ВЗАИМООТНОШЕ-  
 НИЙ КИНО И  
 ЛИТЕРАТУРЫ

Принято говорить — старо как мир. То же можно сказать и о проблеме взаимосвязи кино и литературы, которая возникла вместе с рождением кинематографа. С тех пор как кинематограф стал искусством, кино и литература связаны так же неразрывно, как сиамские близнецы. И как ни стремятся отдельные мастера кино найти возможность независимого от литературы существования этого самого молодого искусства, проблему эту до сих пор решить не удалось.

Не претендуя на роль пророков, все же заметим, что независимое существование кино от литературы невозможно. Сама мысль эта беспочвенна, а потому и бесплодны усилия ее реализовать.

Проблема взаимоотношений кино и литературы, которая повсюду занимает и деятелей киноискусства, и его теоретиков, и историков, у нас в Грузии по-настоящему еще не стала предметом серьезного изучения.

Киноведам еще предстоит проанализировать и оценить во всей глубине и многообразии жизненное значение связей грузинского кино и литературы. Конечно же, встречаются очень интересные статьи об отдельных фильмах, о фактах экранизации художественных произведений, но с точки зрения обобщения и обоснования теоретических принципов, раскрытия общей картины развития на материале богатой практики грузинского кино они малозначительны. Однако не одним киноведам, видимо, придется решать эту задачу, не в меньшей степени эта проблема должна занимать и литературную кри-



тику, ведь сама постановка проблемы — кино и литература — предполагает одинаковую заинтересованность обеих сторон.

Проблема взаимоотношений кино и литературы прежде всего подразумевает экранизацию классического или современного литературного произведения. И это ограничение, сужение проблемы преследует киноведение по инерции с той поры, когда кинодраматургия делала свои первые шаги и к ее самостоятельному существованию никто всерьез не относился. Для художников периода «немого кино» литературной основой была лишь уже существующая художественная литература, с которой оригинальный, самостоятельный сценарий не имел ничего общего.

Время и опыт, развитие самого киноискусства, его богатейшая практика обнажили многообразные аспекты взаимоотношений кино и литературы, их органической связи. Совершенно ясным и бесспорным стало не только существование кинодраматургии как одного из определенных жанров литературы, но и то, что киносценарий — это тот прочный фундамент, на котором возводится изумительный и чарующий мир киноискусства, и, кроме того, огромно влияние литературы на формирование поэтики кино.

Сейчас уже задумываются над тем, что история киносценария началась задолго до того, как кино стало искусством, и что сценарии существовали в виде записей съемочного материала. Бесспорно одно: кинематографу быстро надоела роль «движущейся фотографии», и он с первых шагов почувствовал свою причастность к искусству, свое призвание художественно отобразить сложные социальные и общественные явления, проникнуть в глубины духовного мира человека. Достичь этого без драматургии кинематографу было невозможно, и потому уже с первых своих опытов он нерасторжимо связан с литературой.

Интерес этот не был односторонним: не только кино испытывало потребность в литературе, но и последняя сразу осознала значение и перспективы нового искусства. Поэтому и писатели с удовольствием сотрудничали с пионерами кино. Широко известен живой интерес русских писателей, даже самого Льва Толстого, к такому чуду, каким в то время был кинематограф.

И в Грузии именно известный писатель Шалва Дадiani попытался создать в 1911—16 годах национальное кинопроизводство. Это многозначительный факт, хотя первая попытка Шалвы Дадiani и осталась безрезультатной. Но все же в итоге в 1921 году, когда на экраны Тбилиси вышел первый советский фильм режиссера Ивана Перестиани «Арсен Джорджиашвили», автором его сценария был Шалва Дадiani.

Нельзя не согласиться с мнением известного кинодраматурга Евгения Габриловича: «С самой ранней поры летопись киноискусства — это не только история кинорежиссуры (как утверждают обычно летописцы), но и история кинолитературы — оригинальной и в переложениях с прозы».

1935  
111033

Не сейчас, а именно тогда, на первых этапах развития кинематографа, должна была утвердиться нерасторжимая его связь с литературой. В свое время было потрачено немало времени, сил и энергии для доказательства автономии кинематографа, полной его независимости с убеждением, что оригинальному литературному сценарию будет отведена роль лишь первой искры для дальнейшего воспламенения творческого киножара и что его значение только этим и ограничится. Такая постановка вопроса глубоко ошибочна в самой своей основе, однако мотивы и настроения, породившие ее, могут быть понятны, поскольку страх фанатично влюбленных в кинематограф людей перед реальной опасностью не беспочвен и сейчас.

«Немое кино» вызвало к жизни поразительную изобретательность для того, чтобы без слов, с помощью лишь движущегося изображения, актерской мимики и жеста донести до зрителя весь трагизм, драматизм или комизм характеров и жизненных ситуаций. Именно благодаря этому искусству, значительным кинематографическим находкам и был достигнут этот эффект, который, по меткому выражению, был обозначен как «кричащее молчание».

Звук, слово в кинематографе произвели настоящую революцию, но и посеяли страх утраты самобытности и независимости нового искусства.

Евгений Габрилович в своих воспоминаниях рассказывает, как однажды на заре звукового кино у него произошла беседа на эту тему с Всеволодом Пудовкиным. Пудовкин восторженно, эмоционально, почти крича говорил об одном совсем недавно вышедшем немом фильме, и лишь упоминание о звуковом кино заставило его нахмуриться. «Он вдруг как-то разом и глухо умолк, сгорбился и потускнел.

— Погибло искусство! — бормотал он.

Смысл того, что он говорил (насколько я мог понять из отрывистых, шедших толчками слов), заключался в том, что вот создалось замечательное искусство, со своим особым и тонким миром, с неслыханно пристальным немым глазом, способным увидеть и передать самое важное о жизни и человеке, со своим ходом художественного исследования, потрясающего силой и глубиной, вот создалось было это пронзительное искусство — и с появлением звука оно обречено на гибель и вырождение. Такой катастрофы еще не знала история прекрасного!».

И из воспоминаний Евгения Габриловича, и из других источников мы знаем, что несколько позже Пудовкин уже совсем иначе относился к литературе в кино, что впоследствии киноискусство он не представлял себе вне литературы, вне ее острого видения, мыслей и слов. Но была ли хоть крупица реальной опасности, сколько-нибудь обоснованного страха в его прежних словах и настроении? Должно быть.

Для звуковых фильмов кинодраматургия приобрела особое значение. Сейчас все острее ощущается необходимость в



литературных сценариях высокого класса — на уровне подлинной литературы.

Слово на экране приобрело не менее важное значение, изображение. И именно после этого литература стала главным связующим звеном, союзником, составной частью и даже основой кинематографического искусства.

Опыт и практика только грузинского кино были бы достаточны, чтобы убедиться в этом. Вспомним киноновеллу Реваза Чхеидзе и Тенгиза Абуладзе «Чужие дети», сценарии Сулико Жгенти, Резо Габриадзе, Эрлома Ахвледиани, Анзора Салуквадзе, Резо Квеселав, Левана Челидзе и других «собственно кинодраматургов». Вспомним плоды сценарной деятельности — «второй профессии» уже известных прозаиков Нодара Думбадзе, Реваза Инанишвили, Резо Чешшвили и других — и перед нами предстанет огромный литературный труд для кино, свидетельствующий об уровне и значении кинодраматургии для кинематографа.

И все же «...самое поразительное в истории киноискусства, может быть, и заключается в том, что, постоянно проклиная литературу, решительно отлучая ее от экрана, кинематограф все охотней и ненасытней прибегал к ней и она все крепче, все неразрывней входила в его душу и плоть» (Е. Габрилович).

Подобный антагонизм может быть лишь принадлежностью истории, когда чуть ли не стоял вопрос быть или не быть кинематографу. Правда, это была ложная тревога, но в то время многие верили, что такая опасность реально существовала.

Сейчас, когда кинематограф окончательно (и обоснованно) убедился в собственных силах и признал литературу союзником (а не соперником), когда тесное сотрудничество кинематографа и литературы принесло замечательные плоды, уже не слышны истерические вопли о «гибели прекрасного», то есть кино. Правда, некоторое недоверие, осторожность, а иногда и снисходительность и пренебрежение проступают время от времени в отношении кинематографистов к литературе, в их отдельных заявлениях. Это легко обнаружить, листая страницы кинопериодики, в интервью, диалогах, разговорах за «круглым столом» наших кинодеятелей. Даже такие кинорежиссеры, как, скажем, Антониони или Михалков-Кончаловский, творчество которых (надеюсь, мы не одиноки в своем взгляде на это) основывается на крайне интересной драматургии (причем они сами выступают авторами и соавторами), в своих суждениях достаточно принижают значение литературных сценариев для фильма.

Подобное отношение имеет свои реальные и обоснованные причины. Дело в том, что литературе, в первую очередь слову, в кинематографе отвели большие функции, большую роль и значение, нежели им принадлежит. И это не только стало поводом для ревности, но, что того хуже, превратилось в своего рода причину, препятствующую развитию кинематографа. Думается, следует согласиться с некоторыми соображениями по этому поводу, которые изредка проскальзывают в заяв-



ниях отдельных кинематографистов, хотя тотчас же тонут в многоголосом хоре дифирамбов в адрес литературы.

В этой связи следует упомянуть книгу Иосифа Маневича «Кино и литература»<sup>1</sup>, которая нам кажется показательной в смысле преувеличения роли литературы для кинематографа и в некотором роде снисходительного отношения к его самобытности и автономии.

Возьмем на себя смелость оспорить положение такого известного специалиста и исследователя кино, как Иосиф Маневич, ибо иначе не высказать своего отношения к той общей тенденции, которая довольно широко распространена и является характерной не только для автора вышеупомянутой книги.

Принято считать, что синтетичность, движущееся изображение и монтаж — это те «три кита», на которых стоит киноискусство. Но дело в том, что вольно или невольно многие хотели бы выбить эту опору из-под кинематографа. Это даже вошло в моду.

Когда обоснованно говорят о том, что взял кинематограф из арсенала древних искусств — театра, живописи, музыки и в большей степени литературы, то это, понятно, не может вызывать возражения, но искать и даже находить специфику и поэтику кинематографа в других областях искусства и особенно в литературе еще до появления кинематографа несправедливо. И возражения по этому поводу деятелей киноискусства вполне понятны.

Иосиф Маневич пишет: «Киноведы начинают углубленно заниматься изучением синтеза киноискусства. Становится ясным, что появление кино уготовлено тысячелетней историей развития искусства, а потребность в нем заложена в психофизических свойствах человека».

И. Маневич ссылается на польского кинокритика Александра Яцкевича, который в своей книге «Волшебный фонарь» обнаруживает элементы кино задолго до того, как оно возникло. В нарисованном первобытным художником несколько тысячелетий назад восьминогим кабане он усмотрел зародыш киноискусства, поскольку в этом рисунке есть попытка передать движение. Подобных зародышей и в живописи, и в скульптуре — бесчисленное множество, особенно в тех произведениях, где изображены крылья. Мы должны поверить, что описание цита Ахиллеса в «Илиаде» Гомера явно кинематографично, поскольку автор воскрешает сцены, изображенные на щите. Итак, корни кино обнаружены еще в глубокой древности.

Думается, это — несколько упрощенное суждение, хотя звучит оно весьма заманчиво.

Нет надобности усложнять простые вещи. И нет нужды в связи с кинематографом обращаться к первобытному человеку, ссылаясь на его психофизические особенности.

Но это относительно безобидные теории, которые не угрожают самобытности и автономии кино и не вызывают серьезных опасений.

<sup>1</sup> И. Маневич. Кино и литература, М., 1966.

Если в свое время киноискусство так энергично эксплуатировало смежные с ним области искусства, что его даже обвинили в их «оккупации», то ныне в обстановке нарастающего значения слова, цвета, полифоничности и других элементов вспомогательные отрасли стали опасны для самого кинематографа. Все более заметна тенденция к выделению живописи, музыки, литературы и ее оружия — слова или каких-либо других компонентов в самостоятельные части киноискусства.

Синтетический характер киноискусства в том и заключается, что все его компоненты, все составные элементы должны служить созданию и раскрытию единого кинообраза. На деле же, довольно часто подчеркивается, выпячивается один или несколько компонентов, в той или иной степени протупает стремление занять главенствующее положение в киноискусстве, исходит ли это от писателя, художника, актера или композитора. Иногда даже роль и авторитет режиссера ставятся под сомнение, хотя вне всяких споров ясно, что именно режиссер соединяет в единое целое компоненты всех видов искусств и потому является полноправным автором фильма.

«Синтез искусств на экране характеризуется не только глубиной и органичностью, но и своеобразной гибкостью, возможностью различных сочетаний». Эти слова принадлежат Леониду Фрадкуну. В своей интересной книге «Второе рождение», посвященной проблеме экранизации, он особо подчеркивает, что в кино должно быть не просто соединение или сочетание различных видов искусств, а органический сплав, в результате которого рождается совершенно новый образ — кинообраз.

Создателем именно такого органичного кинематографического синтеза и является кинорежиссер, и поэтому он есть единоличный автор кинообраза в целом, главная фигура, остальные же — соучастники и лишь в особых случаях — соавторы. Но не все хотят довольствоваться этой ролью, пытаются всеми силами сохранить самостоятельность отдельных компонентов киносинтеза.

Если признать, что несколько десятилетий для искусства — время непродолжительное, то довольно быстро появились симптомы того, что сам кинематограф будет «оккупирован» другими видами искусств.

С целью утверждения собственной автономии кинематограф попытался отказаться от сотрудничества с отдельными видами смежных искусств. В некоторых случаях была игнорирована музыка, и фильмы («Девять дней одного года», «Живые и мертвые», «Нуца» или хотя бы совсем новый грузинский фильм «Древо желаний» и др.) получились весьма впечатляющими. Оказывается, можно снимать фильм и без декораций, свести до минимума роль художника или же совсем отказаться от его услуг. Но поскольку основой киноискусства является изображение, то такие эксперименты, думается, не стоит поощрять — участие художника в фильме представляется обязательным. Некоторые режиссеры отказались от профессиональных актеров, и даже это не погубило фильмы.





Понятно, эти эксперименты, в некоторых случаях увенчавшиеся большим успехом, были продиктованы не только тем, чтобы доказать самостоятельность и независимость кинематографа. Главной целью были поиски возможностей кино, и на пути этих исканий кино вспомнило свою юношескую пору — время «великого немого» и его опыт, поскольку основным соперником для него стало слово — новшество, привнесенное на экран его основным союзником — литературой.

Когда речь идет о том, что кино не могло бы существовать без драматургии, что без литературы кинематограф остался бы лишь чудом техники или, скажем, информационным или каким-либо другим средством и ни в коем случае не мог бы стать искусством и что именно сценарий, в основном, цементирует все элементы киносинтеза и прочее и прочее, — все это можно понять и принять, как бы высокопарно это ни было сказано, например: «Литература — живая вода киноискусства. Только прикинув к ней, кино обретает дар жизни. Своими корнями кино уходит в литературу, и чем могущественнее корневая система киноискусства, тем выше его стволы, тем разнообразнее и гуще его кроны тем быстрее растет вечнозеленый лес киноискусства» (И. Маневич).

Все это верно. Согласны и с тем, что мифология, фольклор, а потом и литература на протяжении многих веков своего существования создали такой мир, который обильно питал и питает все области искусства. Не говоря уже о театре и кино, поскольку литература их органическая, непреходящая составная часть. По своей сути, природе, материалу даже такие «независимые» от художественного слова виды искусства, как живопись, скульптура, камерная или симфоническая музыка, все же принаикают к литературному роднику и черпают из него темы, образы. Нет нужды приводить общеизвестные примеры. Но на одном из них я хочу все-таки остановиться, поскольку это продиктовано совсем свежими впечатлениями — речь идет об образце монументальной грузинской скульптуры Мераба Бердзенишвили «И вырастут...». Это великолепное произведение искусства, на которое автора вдохновил грузинский народный стих. Поразительно живые, выразительные, твердо, как стена, стоящие и вместе с тем устремленные вперед фигуры женщины и детей (вспомните, как нежно и энергично подталкивает мать ребят) стали единым символом человеческого трагизма, непоколебимости и надежды. Эта скульптура служит не только конкретному своему назначению — художественному воплощению идеи вечной памяти о погибших на войне, но и обретает более обобщенное значение. Благодаря грузинской легенде, характерам, типажу и, что самое главное, большому таланту художника она звучит гимном общечеловеческому патриотическому и гражданскому долгу.

Нет необходимости что-либо добавлять к тому, что уже сказано о литературе, ее роли и значении, сфере ее влияния и силе ее воздействия. Все это правильно. Но это не дает права вольно или невольно принижать другие области искусства.



Литература нисколько не нуждается в неограниченной власти над другими видами искусства.

Мы говорим об этом потому, что не разделяем мысли Иосифа Маневича, будто по сравнению с другими отраслями искусства, в частности с кинематографом, «...литература теснее связана с жизнью, быстрее откликается на ее запросы», и что это, оказывается, общее, постоянное достоинство или преимущество, а не специфический и характерный признак какой-либо микроэпохи. Это не должно быть правильным ни исторически, ни тем более с точки зрения сегодняшней практики. Кто взвезил и установил (и вообще, мыслимо ли это?) преимущество античной скульптуры и искусства перед литературой того периода или наоборот или же чей вклад больше в эпоху Ренессанса — литературы или живописи? Кто запретил кинематографу роль первопроходца, первооткрывателя жизненно важных проблем, кто отнял право раньше других откликаться на запросы времени, художественно осмысливать и изображать их?

И даже если иметь в виду (хотя Иосиф Маневич не подразумевает этого) только то, что наличие сценария предшествует созданию фильма, и этим попытаться доказать преимущество литературы перед кино, и это не поможет делу. Сценарий хоть и основа, но все же только составная часть кинематографа и свою окончательную форму как литературное произведение принимает лишь после завершения съемок фильма.

Антониони говорит: «Сценарий — это только начальный этап, который я проверяю через объектив — насколько правильно то, что я написал на бумаге. В сценарии ты описываешь воображаемые сцены, но все это повисает в воздухе, когда актер на съемках оказывается более выразителем, чем предполагалось. Иногда приходится совершенно заново решать схему. Это со мной случается часто... Лишь когда актер начинает играть, я чувствую, что в его действиях бывает точным, а что лишним, и тогда все меняю. Некоторые считают это импровизацией. Но это не импровизация, это только процесс создания фильма... Когда фильм готов, я знаю, что хотел сказать, и только тогда я обычно заново пишу сценарий».

Конечно, этот метод работы над фильмами не обязателен для всех, многие хранят верность сценарной первооснове, но совершенно естественно, что литературный сценарий в процессе создания фильма в той или иной степени уточняется и меняется, и в этом повинны не только актеры, о которых говорит Антониони, отход от сценария происходит и за счет творческого участия оператора, художника и вообще всего съемочного коллектива во главе с режиссером.

Даже если взять наиболее яркие примеры творческого сотрудничества, основанного на взаимном уважении и полном взаимопонимании сценариста и режиссера (тандемы Реваза Чхеидзе и Сулико Жгенти или Эльдара Шенгелая и Реваза Габриадзе), думается, что процесс съемки фильма и в этом случае вносит в первоначальный сценарий свои поправ-





модействие искусств намного более плодотворно, нежели раньше, своеобразие кинематографа все же определяет его. Собственный опыт и его традиции и только потом — тальное, в том числе и литература.

Более того, не только сегодня, а уже в период съемки «Элисо», фильма, относящегося к советской классике, выявилось, что его художественные особенности берут начало не в литературе (несмотря на то, что он представляет собой экранизацию литературного произведения), а в опыте советской кинематографии, и прежде всего в творчестве Эйзенштейна. И если Эйзенштейн в «Броненосце «Потемкин» для изображения стихийного движения масс обратился к опыту художественной литературы, то Николай Шенгелая всего лишь несколько лет спустя для раскрытия стихийного движения тех же масс, их психологии уже располагал опытом Эйзенштейна, то есть кинематографическим опытом.

Так что, даже пример первых шагов Эйзенштейна и отмеченных печатью гениальности его фильмов не убедит нас в том, что кинематограф вообще идет только вслед за литературой и не прокладывает своего самостоятельного пути. И если все-таки возникает необходимость доказывать эту неоспоримую истину, приведу один убедительный пример. В начале 50-х годов проблему «маленького человека» в грузинском искусстве выдвинул именно кинематограф, когда Тенгиз Абуладзе и Резо Чхеидзе сняли «Лурджу Магданы» и этим положили начало той мощной волне или тенденции, которая принесла настоящее обновление грузинской литературе или другим областям искусства, продолжающееся и поныне.

Здесь можно сослаться на Евгения Габриловича и согласиться с его положением, а вернее — со справедливым убеждением: «...не в обозе народной жизни, перепевая то, что уже увидено, исследовано и описано в пьесах и прозе, должно находиться наше киноискусство... а в авангарде, как первопрододец».

Надежным залогом этого является творческое сотрудничество кинодраматурга и кинорежиссера. Литература все глубже проникает в душу киноискусства, играет все большую роль в развитии кинематографа, и это хорошо, но переоценка этой роли может привести к обратным результатам.

Литературный сценарий пишется для кино, и уже здесь максимально должны быть учтены его специфика, способы и средства киновыражения, киноосмысления. Это самое главное и самое трудное. Сравнительно легко выехать за счет диалога, слова, когда средством для избавления от всех трудностей служит речь, ее универсализм и неисчерпаемые возможности. Словом можно объяснить и заставить понять все, но злоупотреблять этим не следует ни режиссеру, ни кинодраматургу. Слову же в фильмах отводится все большее место, оно часто становится излишним, а поэтому и вредным для кинематографа явлением.

*Окончание следует*



# „Литературной Грузии“

## «ТБИЛИССКОЕ УТРО»

ЭТОТ поэтический сборник старейшего грузинского поэта Колау Надирадзе озаглавлен по названию одного из его стихотворений, которое завершает книжку. Открывается она также стихотворением об утре — «Я люблю утро». «Пейзажная лирика, лирика сердца, — как сказано в краткой аннотации, предпосланы ей в сборнику, — тесно связана в творчестве поэта с темой любви к родной земле, к своему народу».

Вообще его стихи разных лет, созданные на протяжении более чем полувекового активного творческого труда, проникнуты чувством советского патриотизма. А многие из них — это вехи времени.

Русский читатель познакомится с лирикой Колау Надирадзе в переводе Елены Николаевской и Ирины Снеговой.

«Тбилисское утро» вышло в Москве в издательстве «Советский писатель» (1977).

## «СТИХОТВОРЕНИЯ»

ВЫШЕНАЗВАННЫИ сборник Иосифа Нонешвили предваряет предисловие Миханла Львова, названное «Живи для живых». В нем есть такие строки: «Он всегда пишет стихи участ-

ника, деятеля, труженика, борца... Но его сила еще в том, что он быстро реагирует на жизнь...». Подтверждение тому весь сборник И. Нонешвили, выпущенный на русском языке издательством «Мерани» (1977).

Для того чтобы стихи грузинского поэта достойно звучали на русском языке, трудился большой отряд русских поэтов. Вот их имена: П. Антокольский, А. Аронов, Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Н. Заболоцкий, А. Кочетков, С. Куняев, В. Луговой, М. Луконин, М. Львов, А. Межиров, Б. Окуджава, В. Равич, М. Синельников, В. Соколов, Б. Слуцкий, А. Тарковский, Н. Тихонов, В. Тушинова, Н. Чуковский, В. Широков.

## «ИСТОРИЯ ГРУЗИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

КНИГА эта, выпущенная на русском языке под редакцией Г. И. Ломидзе, В. Д. Жгенти, Г. И. Мерквиладзе издательством «Наука» в Москве (1977), подготовлена Институтом мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР и Институтом истории грузинской литературы имени Шота Руставели Академии наук Грузинской ССР. Отдельные ее

разделы посвящены основным этапам истории грузинской литературы (двадцатых, тридцатых годов, периода Великой Отечественной войны, послевоенного десятилетия, современного этапа), охватывающим в целом период с 1921 по 1970 год.

Книга содержит также хронику литературной жизни Грузии за это время и указатель имен.

Обзоры историко-литературного развития сочетаются здесь с монографическим рассмотрением творчества крупнейших писателей Советской Грузии и проблемно-тематическим анализом наиболее значительных произведений разного жанра. Внимание уделено также вопросам теории социалистического реализма, взаимосвязям и взаимообогащению братских литератур.

### **«ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»**

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ третья книга грузинского критика и литературоведа Кобы Имедашвили, выпущенная на грузинском языке издательством «Сабчота Сакартвело» (1977). Часть вошедших в нее статей была напечатана по-русски в союзной и республиканской прессе.

В ее первой части с историко-теоретических позиций проанализирована грузинская проза 20—30-х годов. Вторая часть содержит критическую оценку прозаических произведений грузинской литературы 60—70-х годов. Оба периода рассмотрены автором в их единстве и взаимодействии.

**«НИКО  
ЛОРДКИПАНИДЗЕ»**



В СЕРИИ «Жизнь замечательных людей», выпускаемой издательством «Накадули», вышла книга, рассказывающая о жизни замечательного грузинского писателя Нико Лордкипанидзе, чьи прозаические произведения вошли в золотой фонд грузинской литературы. Автор книги «Нико Лордкипанидзе», изданной на грузинском языке, — Элисо Абрамишвили.

### **«ПЕТР ИВЕР И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ ГРУЗИНСКОГО МОНАСТЫРЯ В ИЕРУСАЛИМЕ»**

В ОСНОВУ этой книги, выпущенной на русском языке издательством «Мецниереба», легли материалы, собранные ее автором Василием Чачанидзе в период его работы в советской дипломатической миссии в Италии, а также данные грузинских научных исследований.

Если первая часть издания посвящена жизни и деятельности известного грузинского мыслителя V века Петра Ивера, вопросу его идентичности с Псевдо-Дисниием Ареопagitом, содержит сведения о перенесении останков царицы Тамар в Иерусалим, об археологических раскопках в районе «Иорданской пустыши», проведенных в 1946—52 гг. под руководством известного итальян-



ского археолога П. Вирджилио Корбо, то вторая — это перевод на русский язык кратких выдержек из его труда, касающихся этого вопроса.

Книга эта научно-популярного характера, снабжена предисловием «От редактора» С. Я. Енукашвили и рядом иллюстраций.

### **«ВЕРШИНЫ ОТЗОВУТСЯ ЭХОМ»**

В ЭТОТ сборник Ивана Тарбы (издательство «Мерани», 1977) вошли как уже известные русскому читателю, так и новые произведения абхазского поэта в переводах Н. Тихонса, Я. Смелякова, Л. Озерова, Я. Козловского, В. Лифшица, Б. Ахмадулиной, И. Снеговой, Е. Николаевской, Р. Казаковой, Е. Евтушенко и других.

Пафос всей книги — в пристальном внимании автора к проблемам современности, к их связям с традиционным, непреходящим.

### **«ОКО ИСТОЧНИКА»**

АВТОР этого сборника стихов — Георгий Каландадзе, о поэзии которого в

предисловии Георгия Натршвили сказано: «Прошло уже более трех десятилетий, как поэтический голос Георгия Каландадзе волился в многоголосый, щедрый и яркий оркестр грузинской поэзии. Мы знаем немало его стихов — трепетных и волнующих, его «крылатых» строк, как молния пронзающих память». Русский читатель познакомится с этими стихами в переводах Л. Темина, Н. Голя и А. Воронова (изд. «Мерани», Тбилиси, 1977).

### **«РАДУГА ОКТЯБРЯ»**

В СБОРНИК этого названия включены стихотворения современных грузинских поэтов, посвященные Великому Октябрю.

Напечатаны стихи параллельно на грузинском и русском языках. Переводы осуществлены М. Синельниковым, В. Луговым, М. Рихтерманом, Г. Онанияном, Д. Костириным, В. Гофманом, Д. Чкония, Н. Орловой.

Книга издана «Мерани» в 1977 году.



## ГОСТЬ ИЗ ИСПАНИИ

В Тбилиси гостил член Академии баскского языка, профессор университета города Бильбао Шабьер Кинтана, прибывший в Грузию по приглашению Академии наук Грузинской ССР и Института истории грузинской литературы имени Шота Руставели. Гость из Испании известен как переводчик произведений мировой литературы на баскский язык. Им также осуществлены переводы произведений Маркса, Энгельса и Ленина.

Ш. Кинтана приехал в Грузию с целью еще глубже изучить грузинский язык, ознакомиться с новыми работами грузинских ученых в области картвелологии, а впоследствии перевести на баскский язык «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели.

В Институте истории грузинской литературы состоялась встреча с Ш. Кинтаной. Группа молодых ученых нашей республики оказала ему помощь в изучении грузинского языка, а также ознакомила с историей и этнографией Грузии.

## ДИАЛОГ С ПИСАТЕЛЯМИ ЮГО-ОСЕТИИ

В Главной редакционной коллегии по делам художественного перевода и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии состоялась встреча с писателями из Юго-Осетинской автономной области.

В повестке дня — проблемы перевода произведений осетинских литераторов на грузинский язык. Во встрече приняли участие осетинские и грузинские писатели, критики и литературоведы. В ходе беседы были затронуты также проблемы перевода произведений грузинских авторов на осетинский язык. Было подчеркнуто, что необходимо еще глубже и всесторонне развивать грузино-осетинские литературные взаимосвязи, которые взаимообогащают две национальные литературы, сыграют большую роль в укреплении дружбы двух народов.

Встреча в Тбилиси завершилась литературным вечером, на котором

с чтением своих новых стихов выступили грузинские и осетинские поэты.

## ПОСВЯЩАЕТСЯ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ

Издательства Грузии подготовили к выходу в свет новые издания произведений Л. Н. Толстого, приуроченные к 150-летию юбилею великого русского писателя.

Издательство «Хеловнеба» выпустит альбом цветных репродукций «Лев Толстой в грузинском изобразительном искусстве». В альбом включены произведения живописи, графики, резьбы по дереву...

Сборник рассказов и повестей Л. Толстого подготовило издательство «Сабчота Сакартвело». Книжки Г. Талишвили «Гворчество Льва Толстого и Грузия», О. Лордкипанидзе «Лев Толстой в грузинской литературе» и мемуары писателя Н. Ениколопова подготовило к печати издательство «Мерани».

Очерки О. Баканидзе «Лев Толстой и Грузия», посвященные влиянию Л. Толстого на грузинскую литературу, выпустит Тбилисский государственный университет.

## ВЕЧЕР ПОЭЗИИ А. С. ПУШКИНА

Стало уже доброй традицией ежегодно в день рождения А. С. Пушкина проводить в Тбилиси вечер его поэзии. Щедрая грузинская земля не раз вдохновляла великого поэта на создание замечательных произведений, ряд которых поэт посвятил Грузии.

В Тбилиси, в Музее искусств Грузии, состоялся вечер поэзии А. С. Пушкина, посвященный 179-й годовщине со дня его рождения.

Открывший вечер председатель Главной редакционной коллегии по делам художественного перевода и литературных взаимосвязей при Союзе писателей Грузии О. Нодия особо отметил большую любовь грузинского народа к литературному наследию великого русского поэта, неоднократно издавались собрания сочинений Пушкина и

его лучшие произведения, много монографий и исследований посвящено его жизни и творчеству.

Свои переводы бессмертных стихов Пушкина читали поэты Г. Гегечкори, Э. Квитанишвили, М. Лебанидзе, Г. Нишнианидзе, О. Челидзе, Т. Эристави. На вечере также выступили директор Музея искусств Грузии Т. Саникидзе и научный сотрудник Всесоюзного музея А. С. Пушкина в Ленинграде Л. Солдатов.

## ПУШКИН И ПЕТЕРБУРГ

По инициативе Министерства культуры РСФСР и Главной редакционной коллегии по делам художественного перевода и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии в Государственном музее искусств Грузии открыта выставка «Пушкинский Петербург».

Судьба великого русского поэта неразрывно связана с этим городом. В Петербурге он прожил большую часть своей жизни. Во многих произведениях А. С. Пушкина нашел свое отражение этот город на берегах Невы.

На выставке было представлено свыше 120 старинных гравюр и литографий, ценных документальных материалов из фондов Всесоюзного музея А. С. Пушкина в Ленинграде.

Прославленные архитектурные ансамбли города, неповторимые набережные и мосты Невы, портреты писателей, музыкантов, художников, актеров — все это

предстает перед посетителями, передавая неповторимый колорит пушкинского Петербурга. Большой интерес вызвали материалы, посвященные восстанию 14 декабря 1825 года.

## ВСТРЕЧА В РЕДАКЦИИ

В Тбилиси гостил венгерский критик, главный редактор журнала «Элетюнк» Дьёрдь Пете.

В редакции журнала «Литературная Грузия» состоялась встреча с гостем из Венгрии.

Во встрече приняли участие члены редколлегии и сотрудники журнала. Разговор шел о развитии дальнейших творческих контактов между грузинскими и венгерскими литераторами.

## КОНТАКТЫ РАСШИРЯЮТСЯ

Словацкое издательство «Татран» подготовило к выходу в свет поэму Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Перевод поэмы осуществил большой популяризатор грузинской поэзии переводчик Милош Крно. Издание оформил художник-график Марчел Дубровец.

В творческую командировку по приглашению Союза писателей Словакии выехал известный грузинский поэт М. Поцхишвили.

М. Поцхишвили встретился с издателями поэмы, написал послесловие к книге. В городе Жанец состоялся творческий вечер грузинского поэта, на котором прозвучали стихи о любви и дружбе, мире и братстве...

# ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА



**ГЕРШТЕНБЛИТ Алексей Моисеевич.** Род. в 1930 г. Инженер-строитель, журналист, переводчик с польского и немецкого, автор статей, посвященных изданию грузинской литературы за рубежом.

**ДОИАШВИЛИ Теймураз Иосифович.** Род. в 1948 г., канд. филологических наук, научный сотрудник Института истории грузинской литературы имени Шота Руставели АН Грузинской ССР. Автор ряда статей, посвященных вопросам поэтики и современной грузинской литературы.

**ЛАПЕРАШВИЛИ Василий Александрович.** Род. в 1912 г., кандидат филологических наук. Занимается стихотворными переводами как с русского на грузинский язык, так и с грузинского на русский. Автор многих статей и очерков на разные литературные темы, нескольких книг, посвященных жизни и творчеству Владимира Маяковского.

**НИКОЛАДЗЕ Анна Константиновна.** Автор монографий о Пушкине, Гоголе, Маяковском, исследований «Русско-грузинские литературные связи», «Этюды из истории русской литературы» и других работ, в большинстве которых рассматриваются русско-грузинские литературные связи и рус-

ская классическая литература.

**ПЕРЦОВ Виктор Осипович.** Род. в 1898 г. Известный советский литературовед, автор многочисленных книг, среди которых «Этюды о советской литературе», «Писатель и новая действительность», а также трехтомная работа «Маяковский. Жизнь и творчество».

**ТУРНАВА Сергей Эрстович.** Род. в 1916 г., кандидат филологических наук. Работает в области исследования франко-грузинских литературных взаимоотношений. Автор книг «Рене Лафон и Грузия», «Творческий путь Андрэ Стиля», «Французские писатели XX века» и других, а также ряда научных трудов и статей.

**ЧИЛАДЗЕ Отар Иванович.** Род. в 1933 г. Грузинский советский поэт. Автор целого ряда поэтических сборников — «Поезда и пассажиры», «Глиняные дощечки», «Девять поэм» и других. В последние годы О. Чиладзе выступает и как прозаик. Им написаны романы «Шел человек по дороге» и «И каждый, кто встретится со мной». Переводит на грузинский язык А. Пушкина, Э. Багрицкого, Н. Тихонова, Л. Украинку, И. Драча, М. Бажана, Г. Лонгфелло, Ж. Расина, Дж. Байрона.

---

Сдано в набор 3 июля 1978 г. Подписано к печати 21 августа 1978 года, 6 печ. листов, усл. листов 10,08. Формат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.



460 78  
4.1x

26-78

78-460  
041935340  
20220110333

Цена 40 коп.

ИНДЕКС 76117



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ  
საქ. კპ ცკ-ის გამომცემლობა